А · ДОДЕ

Annotation

Настоящее издание позволяет читателю в полной мере познакомиться с творчеством французского писателя Альфонса Доде. В его книгах можно выделить два главных направления: одно отличают юмор, ирония и яркость воображения; другому свойственна точность наблюдений, сближающая Доде с натуралистами. Хотя оба направления присутствуют во всех книгах Доде, его сочинения можно разделить на две группы. К первой группе относятся вдохновленные Провансом "Письма с моей мельницы" и "Тартарен из Тараскона" — самые оригинальные и известные его произведения. Ко второй группе принадлежат в основном большие романы, в которых он не слишком дает волю воображению, стремится списывать характеры с реальных лиц и местом действия чаще всего избирает Париж.

- Альфонс Доде
  - Капитуляция[1]
  - Матери
  - На аванпостах
  - Вольные стрелки
  - Крестьяне в Париже
  - Летние дворцы
  - Маленький шпион
  - Осада Тараскона
  - Часы из Буживаля
  - Пруссак Белизера
  - «Осада Берлина»
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49

Альфонс Доде

Письма к отсутствующему

Капитуляция[1]
© Перевод С. Ошерова

Написано 6 февраля 1871 г.

Не знаю, какую бравурную мелодию сыграют вам в бордоском Большом театре по случаю окончания осады и капитуляции Парижа, но если тебе интересно, какие чувства вызывает у меня вся эта печальная эпопея, то я скажу тебе в двух словах рая и навсегда: Наши доблестные генералы — чтоб их черт побрал — обороняли бывшую столицу так же, как они обороняли бы какой-нибудь Меэьер, Туль или Верден, то есть по неписаным правилам некоего военного свода законов, который со школьной скамьи хранится у них под кепи. Статья первая гласит: «Блокированная крепость не может сбросить блокаду сама». Исходя из этого, они решили попытаться прорвать ее извне.

Замечу мимоходом, что те же великие стратеги за восемь дней до начала осады с восхитительным самомнением утверждали, что нас могут взять приступом, одним мощным ударом, но обложить — ни за что на свете.

Ну так вот, прославленные полководцы, нас все-таки смогли обложить! У пруссаков широкая ладонь, и хотя у Парижа весьма обширная талия, они меньше чем в неделю сцапали его, словно осу, и сжали в своих грубых солдатских рукавицах. А ведь если бы вы были посмелее, мы могли бы вырваться… Париж — великан, надо было дать ему сразиться во всю меру его великанских сил, дать простор его уму, привести в движение все его мускулы. Когда вам помешала Марна,[2] надо было дать Парижу проглотить Марну. Эти недоброй памяти высоты Шатильона, Медона, Шампиньи,[3] все эти мельницы и пригорки, чьи нелепые кровавые имена преследовали нас даже во сне, — Париж мог одним рывком отправить их ко всем чертям. Это было бы делом одного месяца для четырехсот тысяч мотыг, работающих под защитой сотни тысяч ружей… Но вы этого не захотели.

Подлинную историю этой осады придется искать не в газетах и не в книгах, а в военном министерстве. Это здесь разыгрывались великие сражения под Парижем. Здесь о кожаные подушки под задами военных чиновников разбивались все попытки отдельных людей, все усилия доброй воли и пылкого энтузиазма, все великие планы обороны… Больно было

смотреть, как министр Дориан[4] и его сотрудники по министерству общественных работ, такие деятельные, такие умные, носятся из канцелярии в канцелярию, унижаются, умаляются, просят, молитвенно сложив руки:

— Ради бога, господа военные! Мы сознаем свое ничтожество, мы знаем, что самые хитроумные из нас не могли бы служить в денщиках у ваших Гио, у ваших Фребо…[5] Да, вы правы, все наши инженеры ослы, их помощники ничего не смыслят, и тем не менее… испытайте наши пушечки седьмого калибра, заряжающиеся с казенной части, и наши походные кухни, которые будут раздавать солдатам в самой гуще сражения целые бочонки кофе и подогретого вина, и наши привязные воздушные шары, которые произведут разведку так, что это не будет стоить вам ни единого человека, и разузнают, в самом ли деле батареи, что устанавливают на Шатильонских высотах, состоят из одних печных труб…

И какой гордостью преисполнились эти молодцы из Общественных работ, когда после пятимесячных ходатайств, просьб, бумажной волокиты им удалось добиться того, что на передовых позициях появились пушки седьмого калибра, о которых один из наших великих полководцев сказал своим сипловатым голосом выходца из предместья:

— А все-таки эта купеческая артиллерия не так уж плоха! Надо будет закупить еще…

Слишком поздно, ваше высокопревосходительство! Пруссаки все разграбили…

…И вот все кончилось. Париж опять наелся белого хлеба с маслом. К тем временам нет возврата. Первые дни я злился — боже, до чего я злился! — но вот уже несколько дней, как я чувствую где-то глубоко, в самой глубине души, какое-то умиротворение и разрядку. Ах, дорогой друг, уж очень долгой, томительной, однообразной была эта осада! Мне кажется, будто я провел пять месяцев в открытом море, гладь которого почти ни разу не всколыхнулась.

И подумать только, что для иных эти пять месяцев изнуряющей тоски были сплошным праздником, непрерывным опьянением! Всех, от праздношатающихся из предместья, бездельем зарабатывающих сорок пять су в день, вплоть до майоров с семью нашивками — строителей комнатных баррикад, благоденствующих санитаров, лоснящихся от наваристого мясного бульона, опереточных вольных стрелков, распускающих хвост по кафе и подзывающих официантов не иначе, как омнибусным свистком, вплоть до командиров национальной гвардия, расположившихся со своими

дамами в конфискованных квартирах, вплоть до всяческих перекупщиков, всяческих мародеров, ворующих собак, охотящихся за кошками, торгующих кониной, альбумином, желатином, разводящих голубей или владеющих дойной коровой, вплоть до все тех, чьи векселя были переданы уже судебному приставу, и тех, кто просто не любит платить за квартиру, — всех этих людей конец осады поверг в далеко не патриотическое отчаяние. С Парижа снята осада — значит, надо входить в колею, работать, смотреть в лицо жизни, надо отдать нашивки, квартиры, возвращаться в свою конуру, а это нелегко…

Я не собираюсь клеветать на республику. Во-первых, я еще не знаю, что это такое; во-вторых, я видел вблизи людей и дела империи, следовательно, я не имею права быть привередливым. Но что мне я могу с собой поделать, если все происходящее вокруг меня после 4 сентября наполняет мое сердце горечью и недоверием, еще большим, чем прежде? Все дураки, все рохли, все лентяи и никчемные тупицы, каких я только знал, вдруг выплыли на поверхность и пристроились к теплым местечкам. Разумеется, я не говорю об убежденных, преданных республиканцах, долго ждавших своего дня: теперь пришел их черед, и это справедливо. Но другие, те, кого злосчастная империя не пускала даже на кухню, — все они к чему-нибудь приспособились, все до единого! Вплоть до этого жалкого и презренного Н., который уже тогда, когда империя была при последнем издыхании, у всех на глазах обивал пороги министерств, выклянчивая какое угодно место, и вот, посмотрите — сейчас он комиссар республиканской полиции в одном из округов.

И еще: как странно видеть среди нынешней политической сумятицы, сколь незыблемы некоторые лица и некоторые положения! Самый законченный тип такого человека-поплавка, который скользит по волнам времени и всегда держится на поверхности, являет собой достойнейший генеральный секретарь бывшего Законодательного корпуса. Все парижские журналисты знают этого долговязого, бледнолицего субъекта, с тонкими губами и кислой улыбкой, с головой не то канатоходца, не то пономаря: его всегда видели сидящим за столиком на самом верху галереи, за председательский креслом… Я смею думать, что это неплохое место, раз этот господин цепляется за него вот уже больше тридцати лет — нужен был бы самый настоящий ураган, чтобы его оттуда сбросить. Короли уходят, империя рушится, республиканские мины взрывают почтенное собрание… И лишь маленький столик г-на Валетта стоит непоколебимо и будет стоять всегда.

Что вы мне рассказываете, будто нет людей не-заме-нимых? Вот вам

один из них! Или, по крайней мере, он заставляет всех так думать, и в этом его сила. Наверное, ни один человек во Франции — даже г-н Тьер — не знает регламента так, как он, — не будь его, парламентская машина не могла бы работать. Зато когда дело не касается этого грозного регламента, в соблюдении которого он неумолим, г-н Валетт весьма уступчив и весьма гибок: «Если ваше превосходительство соблаговолит…» — говорил он медоточивым тоном, земно кланяясь г-ну Паликао.[6] Это было в полдень 4 сентября. А 6 сентября в тот же час он входил в салоны на площади Бово[7] и с тою же почтительнейшей улыбкой, так же угодливо сгибаясь в три погибели, говорил г-ну Гамбетте:[8] «Если ваше превосходительство соизволит…» И на этот раз, как всегда, его оставили в покое за его столиком в Законодательном корпусе, с ключами от дворца в кармане, с караулом гвардейцев у дверей — для почета, разумеется. И все эти пять месяцев он только и знает, что срывать цветы с прекрасных лужаек председательской канцелярии и регулярно являться к окошечку кассы. Потом открылась Палата в Бордо, и вот теперь он там, со своей неизменной улыбкой, за столиком позади председательского кресла.

Портрет этого милейшего человека довершит одно его изречение. Однажды кто-то из служащих, кичась покровительством г-на Шнейдера,[9] в то время председателя Законодательного корпуса, попытался дать г-ну Валетту отпор. Г-н Валетт вызвал беднягу в свой кабинет и мягко, невозмутимо сказал ему с глазу на глаз следующие незабываемые слова:

— Поостерегитесь, мой друг!.. Ведь председатели не вечны.

А сам г-н Валетт вечен!

Имя ему — Правительственное Чиновничество…

Матери
© Перевод С. Ошерова

Нынче утром я ходил на Мон-Валерьен[10] повидать нашего общего друга, художника Б…, лейтенанта подвижной гвардии[11] департамента Сены. Наш молодец стоял на часах и никак не мог отлучиться. Нам пришлось, словно матросам на вахте, прогуливаться взад и вперед у сводчатых ворот крепости и беседовать о Париже, о войне и о милых отсутствующих друзьях… Вдруг лейтенант, который и в своей накидке гвардейца остается все тем же неукротимым мазилкой, каким ты знал его, прерывает речь на полуслове, застывает на месте и, схватив меня за руку, говорит вполголоса: — Гляди: настоящий Домье! Скосив маленькие серые глазки, вдруг загоревшиеся, как у охотничьей собаки, он показывает мне на две колоритные фигуры, только что появившиеся на плоской вершине Мон-Валерьена.

И впрямь настоящий Домье! Мужчина — в длинном коричневом рединготе с серовато-зеленым бархатным воротником, который, кажется, сделан из высохшего лесного мха; сам он худ, низкоросл, краснолиц, с низким лбом, круглыми глазами и крючковатым носом. Голова важного и глупого филина. В руке у него кошелка из цветной ковровой ткани с торчащим наружу горлышком бутылки, а под мышкой другой руки он держит банку консервов, неизбежную жестяную банку, при взгляде на которую парижане непременно будут вспоминать пять месяцев блокады… Что касается женщины, то прежде всего бросается в глаза ее огромный капор и шаль из искусственного кашемира, которая плотно окутывает все ее тело, словно для того, чтобы еще больше подчеркнуть его тщедушие; потом замечаешь острый кончик носа, время от времени показывающийся из-за выцветших оборок капора, и жалкие прядки полуседых волос.

Поднявшись на вершину, мужчина останавливается перевести дух и отереть пот со лба. Между тем здесь, наверху, совсем не жарко: стоит туманный конец ноября. Но они шли так быстро!.. Зато женщина не останавливается. Она направляется прямо к воротам и при этом глядит на нас в нерешительности, словно хочет с нами заговорить, но потом, видимо, устрашенная офицерскими нашивками, предпочитает обратиться прямо к часовому, и я слышу, как она робко спрашивает, нельзя ли ей повидаться с сыном: он служит в шестом батальоне третьего полка парижской

подвижной гвардии.

— Подождите здесь, — говорит часовой, — я за ним пошлю.

Просияв, она со вздохом облегчения возвращается к мужу, и оба, отойдя в сторону, усаживаются на краю откоса.

Ждать им приходится долго. Этот Мон-Валерьен такой большой, в нем такая путаница переходов, гласисов, бастионов, казарм, казематов! Подите отыщите гвардейца шестого батальона в этом, не имеющем выхода городе, подвешенном между небом и землей и, как остров Лапута,[12] парящем по спирали среди облаков. И ведь, помимо всего, в этот час форт полон барабанных и трубных сигналов, бегущих солдат, позвякивающих манерок. Сменяют караулы, назначают в наряд, раздают рацион, вольные стрелки ударами прикладов подталкивают окровавленного вражеского лазутчика, крестьяне из Нантерра идут с жалобой к генералу; галопом выезжает гонец — сам окоченел от холода, а с лошади пот ручьями; с передовой возвращаются мулы, навьюченные ранеными, которые покачиваются в корзинах со спинками и тихонько стонут, словно больные ягнята; матросы под звуки дудки тянут на канатах новую пушку и орут: «Давай! Тяни!» — пастух в красных штанах[13] гонит принадлежащее крепости стадо — в руках бич, за плечом на ремне шаспо;[14] все это суетится, толчется, перебегает друг другу дорогу в переходах форта, исчезает в сводчатом проходе, словно в низких воротах восточного караван-сарая.

«Хоть бы они не забыли позвать моего мальчика!»- говорят глаза бедной матери. Каждые пять минут она встает, медленно подходит к воротам и украдкой заглядывает в передний двор, не переставая жаться к стене, но спросить она ни о чем не осмеливается: боится сделать сына посмешищем товарищей. Ее муж, еще более робкий, чем она, вовсе не выходит из своего укрытия. Видно, что всякий раз, как она возвращается и с тяжелым сердцем, с убитым видом садится с ним рядом, он бранит ее за нетерпеливость и усиленно втолковывает ей что-то насчет строгостей военной службы, жестикулируя при этом, как всякий невежда, желающий казаться знатоком.

Я всегда был большим охотником до таких безмолвных, не предназначенных для постороннего глаза сценок, в которых больше угадываешь, чем видишь, до этих уличных пантомим, которые задевают тебя, прохожего, и дают возможность в одном жесте прочесть целую жизнь. Но здесь меня больше всего пленяло неуклюжее простодушие моих действующих лиц, и я с глубоким волнением следил по их мимике, выразительной и прозрачной, за всеми перипетиями трогательной

семейной драмы.

Я видел, как мать в одно прекрасное утро решила:

— До чего мне надоел этот господин Трошю[15] со всеми его запретами! Я уже три месяца не видала мальчика. Хочу пойти поцеловать его.

Отец, робкий, не приспособленный к жизни, приходит в ужас от одной мысли о хлопотах по раздобыванию пропуска и сначала пытается урезонить жену:

— Да что ты, голубушка! Ведь этот Мон-Валерьен у черта на куличках… Как ты до него доберешься пешком? И потом ведь это крепость, женщин туда не пускают!

— Ну уж меня-то пустят! — говорит она, и так как она всегда поставит на своем, муж идет в округ, в мэрию, в штаб, к комиссару, идет, потея от страха, замерзая от холода, суется всюду, ошибается дверью, два часа выстаивает в очереди и узнает наконец, что попал не в ту канцелярию. Вечером он возвращается домой, и в кармане у него пропуск, подписанный комендантом… Наутро они встают спозаранку в истопленной комнате, ори свете лампы. Отец ест на ходу, чтобы немного согреться, матери есть не хочется. Она уж лучше позавтракает там, вместе с сыном. И чтобы хоть чем — нибудь побаловать беднягу гвардейца, они второпях запихивают в кошелку свой запас и первой и второй очереди, всю провизию осажденных: шоколад, варенье, запечатанную бутылку вина, даже банку консервов, восьмифранковую банку, свято хранимую про черный день. И вот они уже в пути. Когда они добрались до укреплений, ворота только что открыли. Надо показать пропуск. Теперь черед матери робеть… Но нет! Кажется, все как полагается.

— Пропустить! — говорит дежурный офицер.

Только тут она вздыхает с облегчением.

— Как он был любезен, этот офицер!

И вот, проворная, как куропатка, она семенит дальше, она спешит. Муж едва за ней поспевает.

— Что ты так бежишь?

Но она не слушает его. Там, в дымке, на самом горизонте, Мон-Валерьен, и он зовет ее:

— Иди скорей… Он там!

Теперь, когда они наконец пришли, — новая тревога…

Что, если его не отыщут? Что, если он не придет?

Вдруг я вижу, как она вздрагивает, вскакивает на ноги и хлопает мужа по руке… Она издали услышала его шаги по сводчатому проходу. Это он…

Когда он показался, вся крепостная стена осветилась от его присутствия.

Право, он красивый парень, осанистый, с открытым лицом, за плечами у него мешок, в руке ружье. Подойдя, он приветствует их веселым грубым голосом:

— Здравствуй, матушка!

И сразу же мешок, накидка, шаспо-все исчезает за огромным капором. Потом настает, черед отца, но ненадолго. Капор все хочет захватить себе. Он ненасытен…

— Как твое здоровье?.. Ты тепло одет?.. Сколько у тебя осталось белья?

Я чувствую, как долгий любящий взгляд из-под оборок капора обволакивает солдата с ног до головы среди ливня поцелуев, слез и коротких смешков. Вся трехмесячная недоимка материнской нежности выплачивается ему за один раз… Отец тоже глубоко взволнован, но не показывает виду. Он понимает, что мы смотрим на них, и подмигивает в нашу сторону, словно хочет сказать нам: «Вы уж простите ее… Ведь она женщина…»

Неужели же я ее не прощу?

Звук рожка врывается внезапно в этот поток радости.

— Сбор!.. — говорит сын. — Мне надо идти!

— Как, ты не позавтракаешь с нами?

— Нет, не могу… Я ведь на сутки в карауле, в крепости, там, на самой вышке.

— Ох! — вздыхает бедная мать. Она не в силах сказать ни слова.

Некоторое время все трое смотрят друг на друга, как пришибленные. Первым обретает дар слова отец.

— Возьми хоть консервы! — говорит он душераздирающим, трогательным и вместе с тем комическим тоном лакомки, добровольно отказывающегося от лакомого куска.

Но в сумятице взволнованного прощания ни он, ни она никак не могут найти эту проклятущую банку. Тяжело смотреть на их лихорадочно дрожащие руки, занятые поисками, слышать прерывающиеся от слез голоса, вопрошающие: «Где же банка? Куда она задевалась?» Они ничуть не стыдятся этой хозяйственной мелочи, которая примешалась к их огромному горю… Наконец банка найдена, и, вырвавшись из последних долгих объятий, сын бегом возвращается в крепость…

Подумай только: они шли в такую даль, чтобы позавтракать с ним, они предвкушали этот завтрак как великий праздник, накануне которого мать всю ночь не сомкнула глаз, — подумай и скажи, видел ли ты зрелище более

горестное, чем это несостоявшееся торжество, этот уголок рая, в который им удалось лишь заглянуть, прежде чем врата его захлопнулись столь жестоко.

Еще несколько минут они ждут, не двигаясь с места, а взгляд их по-прежнему прикован к сводчатому проходу, где только что исчез их сын. Потом отец, встряхнувшись, отворачивается, с молодцеватым видом откашливается и наконец, овладев собой, произносит громким и бодрым голосом:

— Ну что ж, матушка, пора и в путь! Он низко кланяется нам и берет жену под руку… Я слежу за ними взглядом до самого поворота. Отец, по-видимому, взбешен. Он яростно жестикулирует, потрясает кошелкой. Мать кажется спокойнее. Она идет рядом, понурив голову, опустив руки. Но все же мне чудится, что кашемировая шаль на узких ее плечах время от времени судорожно вздрагивает.

На аванпостах
© Перевод С. Ошерова

Эти заметки написаны мной без всяких дальних планов, во время объезда передовых позиций. Я просто вырвал для тебя листок из записной книжки, чтобы ты прочел его, пока память об осаде Парижа еще не остыла. Все они набросаны наспех, не отделаны, составлены кое-как и раздроблены, как осколки разорвавшейся гранаты, — я посылаю тебе все таким, как есть, ни слова не изменяя и даже не перечитывая. Я боюсь, что мне захочется что-нибудь присочинить, сделать заметки поинтереснее — и все испортить.

ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО В НУРИЕВЕ

Равнина, окаменевшая от стужи, пронзительно-белая, звонкая. По замерзшей дорожной грязи вперемежку с артиллерией проходят строем линейные батальоны. Проходят медленно и уныло. Они идут в бой. Понурые солдаты бредут, спотыкаясь, стуча зубами, с ружьями на ремнях, засунув руки в рукава, словно в муфты. Время от времени раздается крик:

— Стой!

Лошади пугаются, ржут. Зарядные ящики подпрыгивают на ухабах. Канониры приподнимаются на стременах и с тревогой смотрят вдаль, за высокую белую стену Бурже.

— Видать их? — спрашивают солдаты, притоптывая на месте.

Потом снова:

— Марш!..

Человеческая волна, на миг отхлынувшая, снова катятся вперед, все так же медленно, все так же молчаливо.

На горизонте — передовое укрепление форта Обервилье, а на нем — комендант со своими офицерами; их крохотные фигурки тонко вырисовываются на озаренном матово-серебристым восходящим солнцем холодном небе, словно на японском перламутре. Ближе ко мне большая стая черных ворон обочь дороги: это братья милосердия из полевого лазарета. Они стоят, скрестив руки под накидками с капюшоном, и смиренно, отрешенно и грустно смотрят, как мимо них строем проходит

все это пушечное мясо.

В тот же день. Пустые, покинутые деревни — двери отперты, крыши разбиты, окна без козырьков смотрят на нас, как глаза мертвецов. Временами слышно, как в этих развалинах, где все рождает гулкое эхо, кто-то шевелится: доносится шум шагов, скрипит дверь, и, когда вы проходите мимо, на пороге появляется солдатик и недоверчиво глядит на вас ввалившимися глазами: то ли мародер, который вышел на добычу, то ли дезертир, который ищет нору поглубже… Ближе к полудню я зашел в один из этих крестьянских домиков. Он был пуст и гол, словно бы выметен дочиста. Весь низ занимала просторная кухня без окон и дверей, выходившая на задний двор; двор был обнесен живой изгородью, а за ней, насколько хватал глаз, — поля, поля… В углу кухни вилась каменная винтовая лесенка. Я уселся на ступеньку и просидел довольно долго. Мне было хорошо от солнечного света, от объявшей все тишины. Жирные мухи, уцелевшие с прошлого лета и ожившие под лучами солнца, жужжали у потолочных балок. Перед очагом, в котором еще заметны были следы огня, лежал камень, красный от спекшейся крови. О мрачной ночи без сна рассказывало это окровавленное сиденье возле еще теплой золы.

ВДОЛЬ МАРНЫ

3 декабря[16] я вышел через Монтрейльские ворота. Низкое небо, холодный ветер, туман.

В Монтрейле ни души. Двери и окна заперты. Только в одном месте слышно, как за забором гогочет стадо гусей. Значит, хозяин не уехал — прячется. Немного дальше нашел открытый кабачок. Внутри тепло, гудит топящаяся печка. Трое гвардейцев из провинции завтракают, придвинувшись к ней поближе. Неподвижные, с распухшими веками и пылающими лицами, бедняги сидят, положив локти на стол, дремлют и одновременно едят…

Выйдя из Монтрейля, иду Венсенским лесом, сизым от дыма бивачных костров. Здесь стоит армия Дюкро. Солдаты рубят деревья, чтобы погреться у огня. Жалко смотреть на березки, осинки, молоденькие ясени, когда их тащат корнями вверх и мягкие золотоволосые кроны волочатся по дороге.

В Ножане снова солдаты. Канониры в широких плащах; ополченцы нормандской подвижной гвардии, толстощекие, кругленькие, как яблочки; мелкорослые проворные зуавы в низко надвинутых капюшонах, пехтура —

все сутулые, как бы перегнувшиеся пополам, с обвязанными носовым платком ушами. Они роятся, слоняются по улицам, протискиваются в двери двух еще не закрывшихся колониальных лавочек. Ни дать, ни взять — городишко в Алжире.

Наконец дома позади. Длинная пустынная дорога спускается к Марне. Небо на горизонте чудесного жемчужного цвета, голые деревья дрожат в зимнем тумане. Вдали большой железнодорожный мост: мрачно выглядят его разрушенные арочные пролеты, словно челюсть с вырванными зубами. Проходя через Перре, в одной из крохотных придорожных усадеб с разоренными садиками и угрюмыми, заброшенными домами я увидел за решеткой три большие белые хризантемы в цвету, избежавшие общей участи. Я толкнул калитку, вошел, но они были так хороши, что я не осмелился их сорвать.

Я двинулся напрямик через поля и спустился к Марне. Когда я подошел к самой кромке берега, выбравшееся из тумана солнце разом осветило всю реку Вид чарующий. Напротив Пти-Бри, где вчера еще шел такой жаркий бой; белые домики мирно карабкаются по уступам берега среди виноградников. С нашей стороны в камышах — лодка. У воды — кучка людей; они разговаривают и смотрят за реку. Это разведчики, которых послали в Пти-Брн разузнать, не вошли ли туда снова саксонцы. Я переправляюсь с ними. Пока плывет наш паром, один из разведчиков, тот, что сидит позади меня, говорит мне тихо:

— Если вам нужно шаспо, так в Пти-Брн, в мэрии, их полно. Они там еще оставили пехотного полковника — такой длинный, белобрысый, кожа белая, как у женщины, и желтые сапоги совсем новые.

Особенно его поразили сапоги убитого. Он все время говорит о них:

— До чего хороши сапоги, черт бы их побрал!

…При этих словах глаза его блестят.

Когда мы входим в Пти-Брн, моряк в холщовых туфлях, держа в охапке не то пять, не то шесть ружей, скатывается вниз по проулку и бежит к нам:

— Гляди в оба! Пруссаки!

Мы укрываемся за низенькой стенкой и смотрим.

Высоко над нами, над самым верхним виноградником появляется эффектный силуэт всадника: он пригнулся в седле, на голове у него каска, в руке мушкет. За ним другие кавалеристы, потом пехота; она рассыпается по виноградникам, ползет.

Один из пехотинцев, совсем близко от нас, занял позицию за деревом — и дальше ни шагу. Долговязый детина в длинной коричневой шинели, с головой, обвязанной пестрым носовым платком. Для нас это отличная цель.

Но зачем?.. Разведчики узнали все, что им было нужно. Теперь скорее к лодке. Моряк разражается бранью. Мы беспрепятственно переезжаем Марну… Но едва мы причаливаем, как вдруг приглушенные голоса окликают нас с того берега:

— Эй вы, на лодке!..

Это давешний охотник до чужих сапог и трое или четверо его товарищей — они попытались добраться до самой мэрии и теперь сломя голову примчались назад. На беду за ними некому ехать, наш перевозчик исчез.

— Я не умею грести, — жалобно говорит мне сержант разведчиков, который забился со мной в какую — то нору на берегу.

Тем временем за рекой теряют терпение:

— Что же вы не едете? Что же вы не едете?

Надо ехать за ними. А это совсем не так просто. Марна тяжелая, неподатливая. Я гребу изо всех сил и ощущаю спиной, что саксонец все время стоит неподвижно за деревом и глядит на меня… Когда мы причаливаем, один из разведчиков так поспешно прыгает в лодку, что она зачерпывает воду. Невозможно увезти всех сразу — лодка наберет воды. Самый храбрый остается ждать на высоком берегу. Это капрал вольных стрелков, славный малый, в синем мундире, с птичкой, приколотой к кепи. Мне очень хотелось вернуться за ним, но тут началась перестрелка. Он выждал с минуту, потом, держась у самых стен, побежал в сторону Шампиньи. Что с ним стало потом, не знаю.

В тот же день. Когда в предметах или в живых существах драматическое сочетается с карикатурным, то испытываемое нами чувство страха и волнения приобретает необычайную обостренность. Разве тяжкая боль, написанная на какой-нибудь забавной физиономии, не трогает нас особенно глубоко? Представьте себе мещанина с рисунка Домье среди ужасов смерти, представьте его заливающимся слезами над только что принесенным телом убитого сына! Разве нет в этом зрелище чего-то особенно мучительного?.. Ну так вот, эти мещанские дачи вдоль Марны, эти нелепые пестрые шале, нежно-розовые, ярко-зеленые, канареечно-желтые, с их средневековыми башенками, увенчанными цинковыми кровлями, с беседками, раскрашенными под кирпичную кладку, с причудливыми садиками, где раскачиваются шары из белого металла, — все они теперь приобрели ужасающий облик: я заметил это, когда увидал их в дыму сражений, заваленными соломой и залитыми кровью, с крышами, продырявленными снарядами, с разбитыми флюгерами, с каменными оградами, которые после обстрела стали зубчатыми.

Дом, куда я зашел, чтобы обсушиться, был в этом же роде. Я поднялся на второй этаж в маленькую красную с золотом гостиную. В ней еще не кончили клеить обои. На полу валялись бумажные рулоны и куски волоченого багета. Никаких следов мебели, только осколки бутылок да в углу — соломенный тюфяк, на котором спал человек в блузе. И над всем этим — смешанный запах пороха, вина, свеч и прелой соломы… Я греюсь у дурацкого камина из розового марципана, в котором горит ножка столика. Временами, когда я гляжу на этот камин, мне кажется, будто я гощу за городом у добрых небогатых буржуа. За моей спиной играют в трик-трак… Нет, это вольные стрелки заряжают и разряжают шаспо. Если не обращать внимания на звуки выстрелов, это так похоже на стук выбрасываемых костей! С того берега «отвечают на каждый залп. Звук несется по воде, отражается рикошетом и без конца перекатывается между холмами.

Через бойницы гостиной видна сверкающая Марна, берег, залитый солнцем, и пруссаки, рыщущие, словно борзые, между тычин виноградника.

ВОСПОМИНАНИЕ О ФОРТЕ МОНРУЖ[17]

На самом верху форта, на бастионе, в амбразуры, оставленные между мешками с землей, гордо вытягивают свои длинные стволы пушки морской артиллерии: они привстали на лафетах, чтобы дать отпор Шатильону. Их пасти задраны вверх, ручки торчат с двух сторон, как уши, и сами они похожи на больших охотничьих собак, которые лают на луну или воют, когда в доме мертвец. Немного ниже, на площадке, матросы для развлечения разбили, словно в укромном уголке корабля, подобие английского садика в миниатюре. Здесь есть скамья, беседка, увитая зеленью, газоны, галька, даже банановое дерево. Совсем маленькое, не выше гиацинта, но не все ли равно! Оно растет на славу, и его зеленый султан так ласкает взгляд среди мешков с землей и штабелей снарядов!

О, этот крохотный садик в форте Монруж! Как бы я хотел видеть его забранным решеткой, с памятной плитой посредине и выбитыми на ней именами Карве, Депре, Сессе и всех храбрых моряков, которые пали здесь, на этом бастионе славы!

У ФУЛЬЕЗЫ

Утро 20 января.[18]

Чудесный день, мягкий, подернутый туманом. Широкая пахота вздымается вдали волнами, словно море. Налево — высокие песчаные холмы, которые как бы противостоят Мон-Валерьену. Направо — мельница Жибе, небольшая каменная мельница с разбитыми крыльями, а у ее подножия, на земляной платформе, — батарея. Целых четверть часа иду я по ведущей на мельницу траншее, над которой стелется легкий речной туман. Нет, это дым бивачных костров. Солдаты, присев на корточки, варят кофе, пытаются разжечь сырые дрова, и от этого у них слезятся глаза, першит в горле. Из конца в конец траншеи слышится негромкий гулкий кашель…

Фульеза. Ферма, окаймленная рощей. Я прихожу как раз вовремя, чтобы увидать, как сражаются, отходя, наши арьергарды. Это третий батальон парижской подвижной гвардии. Он марширует в порядке, почти в полном боевом составе, с командиром во главе. После того непостижимого развала, который я наблюдаю со вчерашнего вечера, это зрелище ободряет меня. Двое верховых проезжают мимо меня — генерал и его адъютант. Лошади идут шагом, генерал и адъютант переговариваются, их голоса отчетливо слышны. У адъютанта голос молодой, немного заискивающий:

— Да, ваше превосходительство… Нет, ваше превосходительство… Конечно, ваше превосходительство!..

У генерала голос мягкий и растроганный:

— Как! Неужели его убили? Бедный мальчик, бедный мальчик!..

Потом молчание и топот копыт по мягкой земле…

На мгновение я остаюсь один, лицом к лицу с этим печальным ландшафтом, в котором есть что-то общее с равнинами Шелифа или Метиджи.[19]

Шеренги братьев милосердия идут по проселочной дороге, несут белый флаг с красным крестом. Можно подумать, что мы в Палестине, во времена крестовых походов.

Вольные стрелки
© Перевод С. Ошерова

Вчера вечером мы пили чай у нантеррского стряпчего. Я с удовольствием пишу старинное слово «стряпчий», потому что оно как нельзя лучше отвечает духу века Помпадур, который сохранился и в прелестном городке, где цветут розы и девы, и в обстановке стародедовской гостиной, где мы сидели вокруг большого, украшенного лепными лилиями камина, где жарко пылали корневища. Хозяин дома был в отсутствии, но его добродушная хитроватая физиономия, висевшая в углу, мирно улыбалась из овальной рамы необычным сотрапезникам, наполнявшим гостиную, так что хозяин, казалось, занимал почетное место на нашем пиру.

В самом деле, странные гости были на вечеринке у нотариуса! Шинели с нашивками, обросшие щетиной лица, кепи, дождевики с капюшонами, грубые сапоги… И всюду-на фортепьяно, на изящном столике — вперемежку с кружевными подушечками, шкатулками из Спа, рабочими корзинками разбросаны сабли и револьверы. Все это составляет разительный контраст с патриархальностью комнаты, где еще, кажется, носится в воздухе запах нантеррских печений, которые очаровательная жена нотариуса раздает цветущим девушкам в кисейных платьях… Увы! По вине солдафонов короля Вильгельма[20] в Нантерре нет больше цветущих девушек! Их место занял батальон парижских вольных стрелков, и чаем в этот вечер угощали нас офицеры батальона, расквартированные в доме нотариуса…

Никогда еще уголок у огня не казался мне таким чудесным. За окном ветер обдувал снега и доносил к нам вместе с жидким звоном промерзших часов окрики часовых да изредка приглушенный ружейный выстрел… В гостиной разговаривали мало. Служба на передовых позициях нелегка, к вечеру изрядно устаешь. И потом этот аромат благополучного уюта, который поднимается из чайников вместе с клубами белокурого пара, затопил нас всех и словно загипнотизировал в глубоких креслах нотариуса.

Вдруг шум торопливых шагов, стук двери, и к нам вваливается телеграфист; глаза у него блестят, голос срывается:

— Тревога! Тревога!.. Немцы напали на сторожевой пост в Рюэйле!

Этот пост, выставленный вольными стрелками, — один из самых

передовых: он находится на Рюэйльском вокзале, в десяти минутах езды от Нантерра, можно сказать, в самой Пруссии. В одно мгновение все офицеры на ногах, вооружены, подпоясаны, все скатываются по лестнице, чтобы собрать свои роты. Рожка для этого не нужно. Первая рота стоит у священника; два удара ногой в дверь:

— Тревога!.. Поднимайтесь!

И — бегом к дому письмоводителя, где стоят ребята из второй…

О, этот маленький темный городок с островерхой заснеженной колокольней, эти садики с аккуратно рассаженными деревьями и калитками, отворявшимися со звоном, как двери в лавках, эти незнакомые дома, эти деревянные лестницы, на которые я ощупью взбегал следом за огромной саблей батальонного адъютанта, теплое дыхание набитых комнат, куда мы заглядывали мимоходом с криком «тревога», ружья, бряцавшие в темноте, люди, еще не очнувшиеся после сна, которые бежали, спотыкаясь, на свои места, в то время как на перекрестке обалдевшие от страха крестьяне с фонарями перешептывались: «На нас напали… На нас напали…» Все это казалось мне тогда сном, но сохранившееся у меня впечатление неизгладимо и четко…

У меня перед глазами все еще стоит темная площадь мэрии, освещенные окна телеграфа, первый зал, где ждут вестовые с фонарями в руках, в углу батальонный хирург-ирландец невозмутимо собирает свои инструменты. И — очаровательная подробность: среди всей этой суматошливой подготовки к стычке маленькая маркитантка, в синем костюме, словно сирота из приюта, заснула перед огнем с ружьем в обнимку. Наконец, в глубине — телеграфная контора, походные кровати, большой стол, залитый светом, двое телеграфистов, согнувшихся над аппаратом, а за ними командир, склонившись, следит беспокойным взглядом, как разматываются прямо на стол длинные бумажные ленты, ежеминутно приносящие новости с атакованного поста… Вне всякого сомнения, дело там жаркое! Депеша за депешей. Взбесившийся телеграф дергает свои электрические звонки и все ускоряет оглушительное стрекотание швейной машины.

«Скорей!..»- просит Рюэйль.

«Мы идем…» — отвечает Нантерр.

И роты идут ускоренным маршем…

Разумеется, я согласен, что нет в мире ничего печальнее и нелепее, чем война. К примеру, я не знаю, что может быть томительнее, чем просидеть всю январскую ночь в окопе полевого караула, щелкая зубами, как старый волк, что может быть глупее, чем осколок солдатского котелка, который ни

с того ни с сего угодит вам в голову. Но в ясный морозный вечер выйти в бой на сытый желудок и с теплым сердцем, наудачу броситься стремглав в темноту, все время чувствовать локти славных ребят, окружающих тебя, — право, это большое удовольствие, это приятное опьянение, но опьянение особое, отрезвляющее пьяниц и обостряющее слабое зрение…

Я, например, в эту ночь видел превосходно. А между тем луна светила не так уж ярко, и небо освещала земля, белая от снега, — освещала резким театральным светом, разлитым до самого края равнины. На его фоне малейшие подробности пейзажа — кусок стены, столб, ряды ив — вырисовывались черно и сухо, словно лишенные тени… По тропинке, проложенной вдоль пути, вольные стрелки шли беглым шагом. Слышен был только звон телеграфных проводов, тянувшихся вдоль откоса, учащенное дыхание людей, свистки, которыми предупреждали часовых, да еще время от времени снаряд с Мон — Валерьена, словно ночная птица, пролетал над нашими головами с жутким хлопаньем крыльев… По мере того, как мы приближались, вспышки огня впереди стали все чаще прорывать сумрак. Потом вдалеке, слева, молча взметнулось пламя пожара.

— Перед заводом — перебежками по одному!.. — командует нам капрал.

— Ишь ты! По одному! Того и гляди, нарвешься… — пробурчал мой сосед слева; выговор выдавал уроженца парижского предместья.

К нам подскочил офицер:

— Кто сейчас говорил? Ты?

— Да, господин капитан, я только…

— Отлично… Уходи… Возвращайся в Нантерр.

— Но, господин капитан…

— Нет, нет… Убирайся, живо!.. Ты мне не нужен… А, ты боишься нарваться?.. Ну так и проваливай, проваливай!

Бедняга принужден был выйти из цепи, но через пять минут украдкой снова занял свое место и уже не боялся нарваться.

Нет, этой ночью никому не суждено было нарваться. Когда мы подошли к засеке, дело только что кончилось. Пруссаки, которые надеялись застать наш пост врасплох, нашли его начеку, защищенным от неожиданного нападения, и благоразумно отступили. Мы прибыли, как раз когда они исчезли в глубине равнины, черные и безгласные, как тараканы. Однако, опасаясь новых атак, нас оставили на Рюэйльском вокзале, где мы и докоротали ночь, стоя, ружья к ноге, одни-на перроне, другие — в залах ожидания…

Бедный Рюэйльский вокзал! Когда-то он был таким веселым, таким

светлым, этот аристократический вокзал буживальских гребцов, где парижское лето прогуливалось, выставляя напоказ свои муслиновые оборки и крохотные шляпки с эгретками, а теперь его и узнать нельзя в этом мрачном погребе, в этом укрепленном склепе, где окна завешаны тюфяками, где пахнет порохом, керосином и прелой соломой и где мы говорим тихо и жмемся друг к другу, освещенные огнем наших трубок да полоской света, пробивающегося из того угла, где офицеры… Чтобы мы не соскучились, нас каждый час посылали повзводно вдоль Сены тревожить противника огнем или пройти патрулем по Рюэйлю, чьи пустынные улицы и заброшенные дома освещались холодным светом пожара, устроенного пруссаками в Буа-Прео… Ночь прошла без тревоги; поутру нас отправили назад…

Когда мы входили в Нантерр, было еще темно. На площади мэрии окно телеграфа горело, как огонь маяка, а в гостиной у офицеров, у камина, в котором потухали тлеющие угольки, все так же мирно улыбался стряпчий…

Крестьяне в Париже
© Перевод С. Ошерова

В Шанроэе эти люди были вполне счастливы. Мои окна выходили как раз на их двор, и шесть месяцев в году их жизнь довольно тесно соприкасалась с моей. Задолго до рассвета я слышал, как хозяин входил в конюшню, закладывал тележку и уезжал в Корбей продавать овощи, потом поднималась его жена, одевала детей, сзывала кур, доила коров, и все утро вниз по деревянной лестнице топотали большие и маленькие сабо… С полудня все смолкало. Отец в поле, дети ушли в школу, мать неслышно возится во дворе: развешивает белье или шьет у дверей, не спуская глаз с самого маленького. Время от времени кто-нибудь проходит мимо, она вступает в беседу, не выпуская из рук иголки.

Однажды — это было тем летом, в конце августа, — я услыхал, как хозяйка говорит соседке:

— Да поди ты со своими пруссаками!.. Что они, во Франции, что ли?

— Они уже в Шалоне, матушка Жан!.. — крикнул я ей из окна.

Мои слова очень ее насмешили. В этом уголке департамента Сены-и-Уазы крестьяне не верили во вторжение.

Однако, что ни день, мимо стали проезжать повозки, груженные разным скарбом. Дома запирались на замок, и в самую чудесную августовскую пору, когда стоят такие длинные дни, сады доцветали, заброшенные и угрюмые за своими запертыми решетками.

Мало-помалу мои соседи начали тревожиться. Каждый новый отъезд из деревни повергал их в уныние. Они чувствовали себя покинутыми… Потом в одно прекрасное утро в самом центре деревни раздалась барабанная дробь! Приказ мэрии: идти в Париж, продать корову, продать все корма, чтобы ничего не осталось пруссакам…

Хозяин отправился в Париж, и это было невеселое путешествие. По мощеной дороге тяжелые повозки беженцев цепочкой тянулись одна за другой вперемежку со стадами свиней и овец, которые пугались катящихся вокруг колес, со спутанными быками, которые мычали в телегах. По обочине, вдоль придорожных канав, брел пешком бедный люд, толкая ручные тележки, набитые старой мебелью: вылинявшими мягкими креслами, столиками времен империи, зеркалами в обтянутых синим сукном рамах. Горькая беда должна была войти в жилища, чтобы

перетряхнуть всю эту пыль, сдвинуть с места все это старье и потащить его по большой дороге.

У ворот Парижа давка. Пришлось ждать два часа. Все это время бедняга, притиснутый к своей корове, в испуге смотрел на бойницы с пушками, на рвы, наполненные водой, на укрепления, тянувшиеся насколько хватало глаз, на высокие итальянские тополя, срубленные и вянущие вдоль дороги.

Вечером он вернулся оторопелый и рассказал жене все, что видел. Жена переполошилась, решила уехать завтра же. Но утром отъезд был отложен на завтра, потом опять на завтра… То надо было собрать урожай, то вспахать полоску земли… Кто знает? Может, еще успеем свезти вино в погреба? И еще: в глубине души смутная надежда, что, может быть, пруссаки минуют их деревню.

Однажды ночью их разбудил страшный взрыв. Взлетел на воздух Корбейский мост. По деревне ходили люди от двери к двери, стучали:

— Уланы! Уланы! Спасайся!

Скорей, скорей! Хозяин и хозяйка встали, запрягли тележку, одели полусонных детей и вместе с соседями двинулись проселочной дорогой. Когда они поднялись почти на самый верх горы, часы на колокольне пробили три. Они оглянулись в последний раз. Водопой, церковная площадь, знакомые дороги — та, что спускается к Сене, та, что вьется меж виноградников, — уже казались им чужими, и в белом утреннем тумане домики покинутой деревеньки жались друг к другу, дрожа от мучительного ожидания.

Ну вот они и в Париже: две комнатки на пятом этаже, унылая улица… Хозяин не так уж несчастен. Ему подыскали работу; кроме того, он в Национальной гвардии, у него караулы на валу, учения, он старается заглушить воспоминания о своих пустых амбарах, о незасеянных полях. Его жена, дикарка, скучает, томится, не знает, куда себя деть. Старших детей она отдала учиться, и девочки, задыхаясь в мрачном, без сада, помещении экстерната, вспоминают приветливую монастырскую школу, весело жужжавшую, точно улей, и лесную дорогу — по ней они каждое утро ходили в монастырь, до которого было полмили. Мать страдает, видя, как они грустят, но особенно тревожит ее малыш. В деревне он сновал взад и вперед, ходил за ней по пятам, перепрыгивал порог дома столько же раз на дню, сколько она сама его переступала, мочил свои красные ручонки в корыте для стирки, присаживался у двери, когда она, чтобы отдохнуть, бралась за вязанье. Здесь — подъем на пятый этаж, темная лестница, где так легко оступиться, скудное пламя в тесном камине, высокие окна,

горизонт, серый от дыма и мокрого шифера… Есть, конечно, двор, где он мог бы поиграть, да консьержка запрещает. Вот еще одна городская выдумка — эти консьержки! Там, в деревне, ты сам у себя хозяин, у каждого свой собственный уголок, который незачем сторожить. Целый день дверь не затворяется, а вечером задвигают толстую деревянную щеколду, и весь дом безбоязненно погружается во тьму деревенской ночи, откуда приходит такой сладкий сон! Время от времени собака залает на луну, но это никого не беспокоит. В Париже, в домах для бедных, настоящая хозяйка — это консьержка. Малыш не решается переступить порог: так он боится этой злой тетки, которая заставила их продать козу под тем предлогом, что из — за нее, мол, мостовая во дворе засоряется соломой и очистками.

Бедная мать не знает, чем бы развлечь скучающего малыша: после обеда одевает его так, словно они отправляются в поле, гуляет с ним за ручку по улицам, по бульварам. Его окружает толпа, его толкают, перепуганный малыш почти не смотрит вокруг. Его привлекают только лошади: их одних он узнает, им одним смеется. Матери тоже все не по душе. Она идет медленно, думая о своем добре, о своем доме, и когда видишь, как они идут вдвоем, она — с открытым выражением лица, опрятно одетая, гладко причесанная, он — с круглым личиком, в огромных калошах, понимаешь, что они выбиты из колеи, изгнаны на чужбину, что они всем сердцем тоскуют по живительному деревенскому воздуху, тоскуют по безлюдности деревенских дорог.

Летние дворцы
© Перевод С. Ошерова

Когда после взятия Пекина[21] и разграбления Летнего дворца французскими войсками генерал Кузен-Монтобан прибыл в Париж, чтобы принять новое крещение и наречься графом Паликао,[22] он в виде крестильной коробки конфет[23] преподнес парижской знати чудные вещи из нефрита и красного лака — они свозились во Францию целыми фургонами, и весь сезон в Тюильри и в салонах, где собиралось общество, или, вернее, то, что тогда именовалось «обществом», выставляли напоказ китайские безделушки.

Туда шли как на распродажу у кокотки или на проповедь аббата Боэра. Я отчетливо вижу, как в сумраке полузаброшенных комнат, где были разложены все эти сокровища, толпятся маленькие Фру-Фру в пышных шиньонах и взволнованно щебечут среди синих шелковых занавесей, затканных серебряными цветами, фонариков из тончайшего шелка, украшенных кисточками и эмалевыми колокольчиками, ширм из прозрачного рога, больших полотняных экранов, сплошь покрытых выписанными кисточкой изречениями, — всего этого нагромождения драгоценных безделок, столь хорошо приспособленных к неподвижной жизни женщин с крохотными ножками. Посетительницы садились в фарфоровые кресла, рылись в лаковых коробках и в рабочих столиках с узором золотых инкрустаций, мяли полотнища белого шелка и перебирали ожерелья, чтобы полюбоваться переливами ткани и игрой азиатских жемчугов. Удивленные вскрики, приглушенный смех, треск бамбуковой перегородки, опрокинутой шлейфом, и у всех на устах волшебные слова «Летний дворец» порхают, словно ветерок, поднятый веером, вызывая в воображении феерические аллеи из белой слоновой кости и пестрой яшмы.

В этом году знать Берлина, Мюнхена, Штутгарта тоже устраивала выставки подобного рода. Вот уже несколько месяцев громоздкие зарейнские дамы восхищенно восклицают «Mein Gott!»[24] перед севрскими сервизами, стенными часами времен Людовика XVI, бело-золотыми гостиными, кружевами из Шантильи, сундучками из апельсинового и миртового дерева, отделанными серебром, — всем тем, что бесчисленные Паликао из армии короля Вильгельма собрали в окрестностях Парижа при ограблении наших летних дворцов.

Ведь они-то не довольствовались разграблением одного дворца. Им было мало Сен-Клу, Медона — наших садов Небесной империи. Эти пройдохи забрались всюду, все растащили, опустошили, начиная с огромных исторических замков, каждый из которых хранит в себе, в свежести своих зеленых лужаек и столетних деревьев, уголок самой Франции, и кончая самыми скромными из наших белых домиков. И теперь по обоим берегам Сены наши летние дворцы, распахнутые настежь, без кровель и окон, кажут друг другу голые стены и развенчанные террасы.

Особенно чудовищным было опустошение в округе Монжерона, Дравейля, Вильнев-Сен-Жоржа. Его королевское высочество принц Саксонский поработал здесь со своей бандой, и, судя по всему, его высочество сделал свое дело на славу. В германской армии его теперь иначе, чем вором, и не называют. Словом, принц Саксонский представляется мне трезвым и практичным правителем: не строя себе никаких иллюзий, он отлично понял, что в один прекрасный день берлинский великан проглотит одним глотком всех южногерманских Мальчиков-с-пальчиков, и принял меры предосторожности. Теперь, что бы ни случилось, сиятельной особе не грозит нужда. В тот день, когда принца сместят, он сможет открыть лавку французских книг на Лейпцигской ярмарке, или стать часовщиком в Нюрнберге, или давать напрокат рояли в Мюнхене, или, наконец, сделаться антикваром во Франкфурте-на-Майне. Наши летние дворцы предоставили ему возможность заняться любым из этих дел, вот почему он и грабил с таким увлечением.

Куда менее понятен мне тот пыл, с каким его высочество опустошал наши фазаньи и кроличьи садки, с каким он старался не оставить в наших лесах ни одного птичьего пера, ни одной шерстинки зверька…

Бедный Сенарский лес! Он был такой тихий, так хорошо содержался, так гордился своими маленькими прудами с золотыми рыбками и своими обходчиками в зеленых мундирах! И как хорошо чувствовали себя под их защитой все эти косули, королевские фазаны! Какое раздольное житье! Какая полная безопасность! Иногда в тишине летнего дня вы слышали шорох вереска, и целый батальон фазанят строем проходил вприпрыжку у вас между ног, в то время как там, в конце просеки, затененной сплошным сводом ветвей, две-три косули мирно прогуливались вдоль и поперек, точно аббаты в семинарском саду. У кого поднимется рука выстрелить в этих беспечных тварей?

Даже браконьерам совестно было стрелять в них, а в день открытия охоты, когда г-н Руэ[25] или маркиз де ла Валетт[26] со своими гостями прибывали в лес, главный обходчик — я чуть было не назвал его

режиссером — заранее назначал несколько фазаних преклонных лет и старых, отставных зайцев, которые ожидали господ приглашенных на перекрестке аллей у Большого Дуба и затем с благодарностью падали под их пулями, восклицая «Да здравствует император!». Вот и вся дичь, которую убивали там за целый год.

Вообрази, как ошеломлены были несчастные зверушки, когда две-три сотни загонщиков в засаленных фуражках явились в одно прекрасное утро и стали топтать их ковры из розового вереска, вспугивать выводки, опрокидывать загородки, перекликаться с поляны на поляну на каком-то варварском языке, когда в таинственных чащах, где г-жа де Помпадур[27] выслеживала, когда же проедет Людовик XV, заблестели шашки и островерхие каски саксонских офицеров. Напрасно косули пытались бежать, напрасно перепуганные зайцы поднимали вверх свои дрожащие маленькие лапки и кричали: «Да здравствует его королевское величество принц Саксонский!» Жестокий саксонец ничего не желал слышать, и несколько дней подряд продолжалось избиение. Сейчас уже все кончено, и Большой и Малый Сенар опустошены. Остались только сойки и белки, которых верноподданные короля Вильгельма не осмелились тронуть, потому что черно-белые сойки носят наряд государственных цветов Пруссии, а беличий мех имеет тот самый золотисто-рыжий оттенок, что так мил г-ну Бисмарку.

Я узнал все эти подробности от папаши Лалуэ, лесника из департамента Сены-и-Уазы, которого ты, верно, не раз видал у нас в деревне: у него певучий выговор, хитрый вид и мигающие щелочки вместо глаз на лице цвета глиняной маски. Этот малый был таким ревностным служакой, он так часто произносил по всякому поводу заклинание, начертанное пятью огненными каббалистическими знаками на его медной нагрудной бляхе, что соседи в деревне прозвали его папашей Лалуэ, ибо именно так жители Сены-и-Уазы произносят слово «Ла Луа» — «закон». Когда в сентябре месяце мы заперлись в Париже, старина Лалуэ зарыл в землю свой скарб, отправил подальше свое семейство, а сам остался ждать пруссаков.

— Я-то свой лес знаю!.. — говорил он, потрясая карабином. — Пусть только сунутся!

На этом мы расстались… Я все-таки за него беспокоился. В эту тяжелую зиму я часто думал о том, что бедняга один в лесу, защищенный от холода холщовой блузой с бляхой на груди, вынужден питаться корнями. От одной мысли об этом у меня мурашки пробегали по коже.

Вчера утром он пришел ко мне свежий, веселый, пополневший, в

отличном новом сюртуке, все с той же знаменитой нагрудной бляхой, сверкавшей, как таз цырюльника. Что он делал все это время? Я не отважился его спросить, но, судя по его виду, жилось ему ненлохо… Молодец папаша Лалуэ! Он так хорошо знает свой лес! Это он, верно, водил туда гулять принца Саксонского.

Может быть, это дурная мысль, но я знаю своих крестьян, знаю, на что они способны. Доблестный Эжен Леру, художник (он был ранен в одной из первых наших вылазок и некоторое время находился на излечении у виноделов в оосе), передал нам как-то один разговор, который как нельзя лучше живописует эту породу людей. Те, у кого он стоял, не могли понять, почему он пошел воевать, если никто его к этому не принуждал.

— Вы что, бывший военный? — спрашивали они каждый раз.

— Да нет же! Я рисую картины и никогда ничем другим не занимался.

— Так, значит, когда вас заставили подписать бумагу, чтоб пойти на войну…

— Меня ничего не заставляли подписывать.

— Ну ладно, чего уж там! Когда вы пошли воевать, — тут они переглядывались и подмигивали друг Другу, — вы, видать, опрокинули хороший стаканчик!

Вот вам французские крестьяне!.. Живущие под Парижем еще хуже. Те, что похрабрее, перебрались из предместий за валы есть вместе с нами горький хлеб осады, но тем, кто остался по ту сторону — а их больше, чем принято думать, — тем я не доверяю. Они остались, чтобы показать пруссакам наши погреба и дограбить наши бедные летние дворцы.

Мой собственный летний дворец был такой скромный, он так глубоко забился в гущу акаций, что, может быть, даже избежал разорения, но я поеду удостовериться в этом только тогда, когда уйдут пруссаки, или еще позднее. Я хочу, чтобы наша природа успела очиститься. Стоит мне подумать, дорогой мой, что все наши чудесные уголки, все островки, поросшие камышами и хрупким лозняком, куда мы отправлялись вечерами, чтобы, нагнувшись к самой воде, слушать пение лягушек, все замшелые аллеи, где во время прогулок мы рассыпали вдоль живых изгородей, оставляли висеть на каждой ветке наши мысли, все широкие травянистые поляны, где так сладко было спать у подножия старых дубов под гудение пчел, строивших у нас над головой музыкальный купол, — стоит мне подумать, что все это побывало в их руках, что они сидели там всюду, как эта прекрасная местность кажется мне поблекшей и унылой. Это осквернение отпугивает меня больше, чем грабеж. Я боюсь, что не смогу уже любить мое гнездо.

Ах, если бы парижане во время осады могли перенести в город восхитительный пейзаж окрестностей, если бы мы могли скатать, как ковер, лужайки и зеленые тропинки, позлащенные закатным солнцем, забрать с собой пруды, сверкающие под сенью лесов, как ручные зеркала, намотать ручьи на катушку, словно серебряную нить, и запереть все на складе! С какой радостью мы сейчас разложили бы на прежнем месте лужайки, расставили подлески и сделали Иль де Франс[28] таким, каким его никогда не видели пруссаки!

Маленький шпион
© Перевод А. Зельдович

Его звали Стен, малыш Стен.

Это был бледный и тщедушный мальчик, истинное дитя Парижа; на вид ему можно было дать десять, самое большее пятнадцать лет. Когда имеешь дело с этими сопляками, никогда нельзя точно определить их возраст. Мать его умерла, а отец, бывший солдат морской пехоты, сторожил сквер в квартале Тампль. Грудные младенцы, няни, старушки со складными стульями, нуждающиеся матери, весь мелкий парижский люд, который на этих огражденных тротуарами газонах ищет защиты от экипажей, — все знали дядюшку Стена и буквально обожали его. Каждому из них было известно, что за его суровыми усами — грозой бродячих собак — скрывается ласковая, чуть ли не материнская улыбка и, чтобы вызвать ее, стоит только спросить этого добряка:

— Как поживает ваш мальчик?

И любил же своего сына дядюшка Стен! Как он был счастлив, когда вечером, после школы, мальчуган приходил за ним и они вместе обходили аллеи, останавливаясь у каждой скамейки, чтобы поздороваться с постоянными посетителями сквера и ответить на их ласковые приветствия!

С осадой Парижа все, к несчастью, изменилось. Сквер, который сторожил дядюшка Стен, закрыли: здесь устроили склад горючего, и бедняга, вынужденный непрерывно нести охрану, проводил теперь время один, среди опустевших, запущенных дорожек, не смея даже затянуться папиросой, и встречался со своим мальчиком поздно вечером, дома. Надо было видеть его усы, когда он заговаривал о пруссаках!.. А что касается малыша Стена, то он не очень-то тяготился своим новым образом жизни.

Осада! Какое это развлечение для мальчишек! В школе нет занятий, а улица — ярмарочная площадь…

Мальчик до самого вечера слонялся по городу. Он сопровождал отправлявшиеся на крепостной вал батальоны своего квартала, главным образом те, у которых был хороший оркестр, а уж в этом Стен отлично разбирался. Он со знанием дела рассказал бы вам, что оркестр 96-го батальона стоит не бог весть чего, зато у 55-го оркестр такой, что лучше и не надо. А то, бывало, он, не отрываясь, смотрел, как мобили проходят строевое учение. А потом еще очереди…

С корзинкой в руке он становился в одну из очередей, которые в эти утопавшие во мраке зимние утра выстраивались у дверей булочных или мясных лавок. Здесь публика, стоя в лужах, завязывала знакомства, рассуждала о политике. А так как мальчик был сыном дядюшки Стена, всем хотелось узнать, что ему известно о происходящем. Но самым увлекательным занятием была знаменитая игра в пробки, которую ввели в моду бретонские мобили. И если Стен не находился на крепостном валу или же не стоял в очереди за хлебом, то мы могли наверняка застать его на площади Шато д'О, где шла эта игра. Сам он, разумеется, не играл: для этого надо было иметь много денег. Он довольствовался тем, что смотрел на игроков, но как смотрел!..

Особый восторг вызывал в нем долговязый парень в синей блузе, ставивший монеты не меньше чем в сто су. Слышно было, как при быстрой ходьбе в карманах у него позвякивают серебряные экю…

Как-то раз, подбирая подкатившуюся к ногам Стена монету, долговязый тихо спросил:

— Завидно, а?.. Хочешь, я тебя научу, как их раздобыть?

Окончив игру, долговязый отвел его в сторону и предложил вместе с ним отправиться к пруссакам, уверяя, что за один раз можно заработать тридцать франков.

Сначала Стен с негодованием отверг это предложение и целых три дня не ходил смотреть, как играют в пробки. Три ужасных дня! Он даже перестал пить и есть. А по ночам ему мерещились выстроившиеся в ногах его кровати полчища пробок и на них — монеты в сто су, которые, ярко сверкнув, тут же на глазах исчезали. Искушение было слишком велико. На четвертый день он пошел на площадь Шато д'О, встретил долговязого парня и поддался соблазну…

Однажды утром, перекинув через плечо холщовые сумки и спрятав газеты под куртки, они отправились в путь. Густо падал снег. Еще только начинало светать, когда они добрались до Фландрских ворот. Долговязый взял Стена за руку и, приблизившись к часовому с красным носом, добродушному на вид солдату местной Национальной гвардии, плаксивым голосом заговорил:

— Разрешите нам пройти, господин хороший!.. Мать у нас больна, отец умер. Это мой брат. Мы хотим собрать в поле немного картошки.

Тут он заплакал. Стен густо покраснел от стыда и стоял с опущенной головой. Часовой посмотрел на них, затем бросил быстрый взгляд на белевшую вдали пустынную дорогу.

— Проходите, да поживей! — сказал он, пропуская их.

И мальчики быстро зашагали по дороге в Обервилье.

Ну и смеялся же долговязый!

Смутно, как во сне, мелькали перед Стеном заводы, превращенные в казармы, безлюдные баррикады, на которых развевалось мокрое белье, прорезавшие туман и тянувшиеся к самому небу обломанные, покореженные, не дымившие трубы. Кое-где виднелась одинокая фигура несшего караул солдата или же группа офицеров:, надвинув капюшоны, они смотрели в бинокль. У тлеющих костров темнели мокрые от растаявшего снега палатки. Долговязый хорошо знал дорогу. Чтобы миновать сторожевые посты, они шли полем. Но все же им не удалось миновать заставу, охранявшуюся вольными стрелками. В коротких накидках сидели они на корточках в наполненном водою рву, тянувшемся вдоль Суассонской железной дороги. Несмотря на то, что долговязый и тут рассказал выдуманную им историю, их не пропустили. Но пока он хныкал, из будки железнодорожного сторожа вышел на насыпь седой, морщинистый старый сержант, чем-то напоминавший дядюшку Стена.

— Ладно, ребятки, не плачьте! — сказал он. — Вас пропустят за картошкой. А пока зайдите обогреться… Мальчуган-то, видно, замерз!

Увы, не от холода дрожал Стен: он дрожал от страха, он дрожал от стыда… В будке солдаты, сгрудившись, держали над огнем насаженные на кончики штыков смерзшиеся сухари. Солдаты потеснились, чтобы дать место мальчикам. Ребят заставили выпить по рюмочке, напоили их кофе. В это время в дверях показался офицер. Подозвав к себе сержанта, он что-то шепнул ему на ухо и поспешно вышел.

— Ну, ребята! — подойдя к солдатам, с сияющим видом сказал сержант. — Сегодня ночью будет жарко… Мы узнали пароль пруссаков. Надеюсь, на этот раз мы у них отобьем злосчастный Бурже![29]

Послышались радостные возгласы, громкий смех. Солдаты пустились в пляс, стали петь, чистить штыки, мальчики, воспользовавшись суматохой, незаметно скрылись.

Миновав траншею, они очутились на голой равнине. Вдали виднелась высокая стена с бойницами. Поминутно останавливаясь, будто подбирая картошку, они направились к этой стене.

— Давай вернемся! Не надо туда ходить! — все повторял Стен.

Вместо ответа долговязый молча пожимал плечами и шел вперед. Внезапно где-то совсем рядом раздался треск заряжаемой винтовки.

— Ложись! — крикнул долговязый и бросился на землю.

Он свистнул. И тотчас над заснеженной равниной прозвучал ответный свист. Мальчики ползком начали продвигаться дальше. У самой стены,

почти вровень с землей, из-под засаленной фуражки показались рыжие усы. Долговязый прыгнул в окоп к пруссаку.

— Это мой братишка, — пояснил он, показывая на своего спутника.

Стен был так мал ростом, что пруссак, глядя на него, рассмеялся. Ему пришлось приподнять мальчика над бруствером.

За стеной виднелись глыбы развороченной земли, поваленные деревья, темными пятнами выделялись на снегу глубокие ямы, и из каждой такой ямы торчали засаленная фуражка и рыжие усы, обладатели которых смеялись при виде мальчиков.

Поодаль был виден замаскированный деревьями домик садовника. Внизу было полно солдат: одни играли в карты, другие варили похлебку на жарком огне. Аппетитно пахло капустой, свиным салом. Какой контраст с биваком вольных стрелков! Наверху находились офицеры. Было слышно, как кто-то играл на рояле, как хлопали пробки шампанского. Появление мальчиков было встречено криками «ура». После того как они отдали газеты, им налили вина и начали их расспрашивать. У офицеров были злые лица, держались они заносчиво. Но долговязый своим площадным юмором и жаргонными словечками сразу же их развеселил. Они хохотали и вслед за ним повторяли его выражения, с наслаждением окунаясь в парижскую грязь.

Стену тоже хотелось поговорить, блеснуть остроумием, но что-то мешало ему. Против него сидел державшийся особняком пруссак, постарше других и на вид серьезнее. Он читал, вернее, делал вид, что читает, но глаза его ни на минуту не отрывались от Стена. Во взгляде его одновременно сквозили и нежность и укор. Казалось, он говорил себе:

«Я бы предпочел умереть, нежели видеть, что мой сын занимается подобными делами…»

Стен почувствовал, будто чья-то рука сжала ему сердце.

Чтобы избавиться от этого мучительного ощущения, он выпил вина. И сразу же все завертелось вокруг него. Точно сквозь сон слышал он, как его товарищ высмеивает Национальную гвардию, показывает, как они проходят строевое учение, изображает схватку при Маре, ночную тревогу на крепостном валу. Затем долговязый заговорил шепотом, офицеры обступили его, их лица приняли сосредоточенное выражение. Негодяй предупреждал их о готовящейся ночной атаке вольных стрелков…

Но тут малыш Стен, сразу протрезвившись, в бешенстве вскочил с места:

— Замолчи, верзила! Я не позволю!

Но тот, пренебрежительно усмехнувшись, продолжал свой рассказ. Не

успел он кончить, как офицеры были уже на ногах. Один из них указал мальчикам на дверь.

— А теперь проваливайте! — крикнул он.

Офицеры быстро-быстро заговорили между собой по-немецки. Долговязый, позвякивая деньгами, с гордым, как у вельможи, видом вышел из помещения. Стен, низко опустив голову, последовал за ним. Когда они проходили мимо пруссака, чей взгляд привел Стена в такое замешательство, послышался печальный голос:

— Некарашо… Ошень некарашо!

У Стена на глазах выступили слезы.

Дойдя до равнины, мальчики со всех ног пустились бежать и быстро оказались на французской стороне. Корзина их была полна картошки, которой их снабдили пруссаки. С этой ношей они без всякого затруднения добрались до траншей вольных стрелков. Там готовились к ночной атаке. Молча прибывали полки и становились у стен. Старый сержант с озабоченным и вместе с тем сияющим видом расставлял своих бойцов. Когда мальчики проходили мимо него, он их узнал и приветливо улыбнулся…

О, какой болью отозвалась эта улыбка в сердце Стена! Он чуть было не крикнул:

«Не ходите в атаку!.. Мы вас предали!..»

Но долговязый шепнул:

— Если скажешь хоть одно слово, нас расстреляют!

И Стена удержал страх.

Наконец они дошли до Куриев и, чтобы разделить деньги, забрались в пустой дом. Справедливость требует заметить, что дележ был произведен честно, а когда Стен услышал, как у него под курткой звенят заработанные экю, он вспомнил об ожидающей его игре в пробки, и совершенное им преступление показалось ему уже не столь ужасным.

Но что почувствовал бедный мальчик, когда остался один! Как только они прошли городские ворота и долговязый расстался с ним, его карманы вдруг стали страшно тяжелыми, а невидимая рука теперь еще сильнее сжимала ему сердце. Париж теперь показался ему совсем иным. Слово «шпион» чудилось ему и в грохоте колес и в звучавшем вдоль всего канала барабанном бое. Наконец-то он добрался до дому. Довольный, что отец еще не вернулся, он поспешил спрятать под подушку тяжелые экю.

Никогда еще дядюшка Стен не приходил домой в таком добром, в таком веселом расположении духа, как в тот вечер. Из провинции только что были получены хорошие вести: положение на фронте улучшилось.

Бывший солдат принялся за еду, а сам то и дело поглядывал на висевшее на стене ружье и, ласково улыбаясь, говорил сыну:

— А что, сынок, если бы ты был большой, ведь и ты пошел бы воевать с пруссаками?

Около восьми часов загрохотали пушки.

— Это Обервилье… Бой идет в Бурже, — сказал дядюшка Стен, отлично знавший все укрепления.

Мальчик побледнел и, сославшись на сильную усталость, пошел спать. Но уснуть он не мог. Он представил себе, как вольные стрелки ночью идут в атаку, но вместо того, чтобы застать пруссаков врасплох, попадают в засаду. Вспомнил он и старого сержанта, который ему улыбнулся, сержант лежал на снегу, а сколько еще рядом с ним… Цена всей этой крови была спрятана у него под подушкой, и виной этому был он, сын Стена, солдата… Слезы душили его. А в соседней комнате взад и вперед ходил отец, открывал окно. Внизу, на площади, трубили сбор. Перед выступлением в батальоне вольных стрелков шла перекличка. Битва предстояла грозная. Мальчик зарыдал.

— Что с тобой? — входя в комнату спросил дядюшка Стен.

Тут мальчнк не выдержал, соскочил с постели и бросился к ногам отца. От резкого движения все его экю рассыпались по полу.

— Это что такое? Ты украл? — вздрогнув, спросил старик.

Мальчик рассказал все: как он ходил к пруссакам и что он там делал. И, выкладывая все как было, он чувствовал, что на душе у него становится легче. Старик слушал молча, но выражение лица у него было страшное. Выслушав до конца, он обхватил руками голову и заплакал.

— Папа, папа!.. — бормотал мальчик.

Старик оттолкнул его и молча собрал деньги.

— Это все? — спросил он.

Мальчик кивнул головой. Старик снял со стены ружье, патронную сумку, сунул деньги в карман.

— Хорошо, — сказал он. — Я верну их пруссакам.

И, не прибавив ни слова, даже не повернув головы, он вышел из дому и присоединился к мобилям, постепенно исчезавшим во мраке. С тех пор его больше не видели.

Осада Тараскона
© Перевод Н. Любимова

Слава богу! Наконец-то до меня дошли вести из Тараскона. Пять месяцев я был ни жив ни мертв. Ах, как я волновался! Зная пылкий нрав этого славного городка и воинственный дух его обитателей, я говорил себе: «Что сталось с Тарасконом? Обрушился ли он лавиной на варваров? Подвергся ли бомбардировке, как Страсбург,[30] мрет ли с голоду, как Париж, сожгли ли его живьем, как Шатоден?[31] А быть может, в припадке исступленного патриотизма он, подобно Лаону,[32] взорвал сам себя и свою неустрашимую твердыню?..» Ничего похожего с ним, друг мой, не произошло. Тараскон не сгорел. Тараскон не взлетел. Тараскон стоит на месте; он уютно расположился среди виноградников, его улицы по-прежнему залиты добрым солнцем, его подвалы по-прежнему полны добрым мускатом, и Рона, катящая волны мимо этого приветливого местечка, по-прежнему уносит в море образ благословенного уголка, отражение зеленых ставен, аккуратно подстриженных садиков и производящих учение на набережной ратников ополчения в новеньких мундирах.

Не думайте, однако, что во время войны Тараскон бездействовал. Напротив, он вел себя отлично, и его героическое сопротивление, о котором я постараюсь вам рассказать, войдет в историю как образец местного сопротивления, как олицетворение обороны юга Франции.

ХОРОВЫЕ КРУЖКИ

Должен тебе сказать, что до Седана[33] наши храбрые тарасконцы были совершенно спокойны. Для этих отважных сынов Альпин там, вдалеке, гибла не родина-гибли солдаты императора, гибла империя. Но 4 сентября родилась республика, и вот когда Аттила обложил Париж, Тараскон пробудился, и тут-то мир увидел, что такое народная война… Разумеется, все началось с манифестации хористов. Вы же знаете, какая у южан страсть к музыке. Особенно в Тарасконе, просто какое-то помешательство! Когда вы идете по улице, из всех окон несется пение, со всех балконов на вас низвергаются романсы.

В какую бы лавочку вы ни зашли, за прилавком томно вздыхает гитара. Даже аптекарские ученики, отпуская вам лекарство, напевают:

Поет соловей
Под сенью ветвей,
Тралалала,
Лалалала!

Помимо таких домашних концертов, концерты в Тарасконе дают городской оркестр, школьный оркестр и невесть сколько хоровых кружков.

Национальное чувство пробудил у тарасконцев не кто иной, как хоровой кружок имени св. Христофора и исполнявшаяся им чудная трехголосная кантата: «Спасемте Францию!»

— Да, да, спасемте Францию! — кричал добрый Тараскон, махая из окон платками. Мужчины хлопали в ладоши, а женщины посылали воздушные поцелуи певучей фаланге, шедшей по бульвару в четыре шеренги, гордо печатая шаг, со знаменем впереди.

Толчок был дан. С этого дня город совершенно изменился: ни гитар, ни баркарол. «Соловья» всюду сменила «Марсельеза», а два раза в неделю тарасконцы задыхались от жары на эспланаде, слушая, как школьный оркестр играет «Песнь выступления». Билеты продавались по бешеным ценам!..

Но тарасконцы этим не ограничились.

КАВАЛЬКАДЫ

Шествия хористов уступили место кавалькадам и историческим пантомимам в пользу раненых. У вас сердце радовалось, когда в солнечный воскресный день храбрая тарасконская молодежь в сафьяновых полусапожках и в светлых рейтузах разъезжала на конях от дома к дому и с громадными алебардами и сачками для ловли бабочек в руках гарцевала под балконами. Но самое красивое зрелище являло собой патриотическое представление «Франциск I в битве под Павией»[34]- члены местного Клуба три дня подряд устраивали его на эспланаде. Кто не видел этого представления, тот вообще ничего не видал. Костюмы раздобыли в марсельском театре. Золотая парча, шелк, бархат, расшитые стяги, щиты, шлемы, латы, ленты, банты, кисточки, копья, кирасы — все это пестрело и

пылало на солнце, превращая эспланаду в огромное зажигательное стекло. А тут еще порывы ветра, колыхавшие море блеска! Это было что-то волшебное. К сожалению, когда после одной из ожесточенных схваток Франциска I — Бомпара, буфетчика Клуба, окружили главные силы рейтаров, злосчастный Бомпар, отдавая меч, как-то загадочно повел плечами, что могло скорей означать не «Все пропало, кроме чести», а «Сдавайся, брат, пока не поздно!», но тарасконцы на такие мелочи не обращали внимания, и в глазах у каждого из них сверкали патриотические слезы.

ПРОРЫВ

Представления, песни, солнце, свежесть, которой тянуло с реки, — все это пьянило тарасконцев. На эспланаде люди встречались не иначе, как с грозным видом, стиснув зубы, слова излетали из уст, как пули. От всех разговоров пахло порохом. В воздухе чудился запах селитры. Особенно кипели страсти за завтраком в Театральном кафе.

— Да что же это такое? О чем думают парижане вместе с этим наказанием господним — генералом Трошю? Сидят себе сиднем… Разэтакие, такие! Ну уж доведнсь до Тараскона!.. Трах-тарарах-тахтах!.. Мы бы давно уж осуществили прорыв.

Но пока Париж давился хлебом с овсом, тарасконцы объедались жирными куропатками, запивали их добрым папским вином и, лоснящиеся, упитанные, перемазавшись в соусе, орали, как сумасшедшие, и стучали кулаками по столу:

— Да идите же на прорыв!..

И, сказать по совести, они были совершенно правы! оворонл клуба.

Между тем варвары стремительно продвигались на юг. Дижон взят, Лион под угрозой, запах прибронских лугов вызывал завистливое ржанье уланских коней.

— Приготовимся к обороне! — сказали тарасконцы, и каждый взялся за дело.

В мгновение ока город был забронирован, забаррикадирован, казематирован. Что ни дом, то крепость. Перед лавкой оружейника Костекальда был вырыт ров глубиной по меньшей мере в два метра, снабженный подъемным мостом, — диво дивное, да и только! В Клубе работы по укреплению обороны достигли такого размаха, что на них ходили смотреть из любопытства. Буфетчик Бомпар с шаспо в руке стоял

на верхней площадке и давал пояснения дамам:

— Если они поведут приступ отсюда — бах, бах! Если же оттуда — бах, бах!

На всех перекрестках вас останавливали тарасконцы и с таинственным видом сообщали:

— Театральное кафе неприступно.

Или:

— Только что минировали эспланаду!..

Тут было над чем призадуматься варварам.

ВОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ

Тем временем с лихорадочной поспешностью формировались отряды вольных стрелков. «Братья смерти», «Нарбоннские шакалы», «Ронские мушкетеры» — сколько названий, сколько оттенков, что васильков в овсе! А султаны-то, а петушиные перья, а большущие шляпы, а широченные пояса! Чтобы выглядеть пострашнее, вольные стрелки отпустили бороды и усы, так что при встрече люди перестали узнавать друг друга. Издали вам кажется, что прямо на вас идет абруццкий разбойник с лихо закрученными усами, с горящими глазами, и в лад его шагам подрагивают сабля, пистолеты, ятаган. Подойдет ближе — ба, да это податной инспектор Пегулад! А то вдруг на лестнице столкнетесь нос к носу с настоящим Робинзоном Крузо в остроконечной шапке, с ножами-пилами, с ружьями через оба плеча. Оказывается, это оружейник Костекальд, который только что пообедал в городе. Но ведь вот, черт возьми: из-за того, что тарасконцы старались придать себе как можно более свирепый вид, они навели друг на друга такой страх, что вскоре никто из них не отваживался выходить из дому.

КРОЛИКИ САДКОВЫЕ И КРОЛИКИ КАПУСТНЫЕ

Декрет Бордо о создании Национальной гвардии покончил с этим нетерпимым долее положением. От мощного дыхания триумвиров — фюить! — петушиные перья разлетелись, и все тарасконские вольные стрелки — шакалы, мушкетеры и прочие-слились в единый батальон доблестных ратников ополчения под командой бравого генерала Бравида, каптенармуса в отставке. Но тут возникли новые осложнения. Декрет

Бордо, как известно, предусматривал два вида Национальной гвардии: подвижную и неподвижную; «кроликов садковых и кроликов капустных», — острил по этому поводу податной инспектор Пегулад. В период формирования роль «садковой» национальной гвардии была, разумеется, куда более эффектная. Каждое утро бравый генерал Бравида вел ее к эспланаде на учение. То была настоящая стрелковая школа: «Ложись! Встать!» — и так далее. Эта игра в войну неизменно привлекала множество зрителей. Тарасконские дамы являлись в, се до одной; даже бокерские дамы — и те иной раз переходили через реку поглядеть на «кроликов». А в это время незадачливые «капустные» гвардейцы несли незаметную службу в городе и охраняли музей, хотя охранять там было решительно нечего, разве что огромную ящерицу, обложенную мхом, да два фальконета времен доброго короля Рене.[35] Вы, конечно, понимаете, что из-за этого бокерские дамы не стали бы переходить через реку… Между тем упражнения в стрельбе длились уже три месяца, дальше эспланады «садковые» гвардейцы не двигались, и восторг тарасконцев несколько остыл.

Бравый генерал Бравида все еще кричал своим «кроликам»: «Ложись! Встать!»-никто уже на них не смотрел. Некоторое время спустя тарасконцы начали посмеиваться над игрой в войну. Бог свидетель, злосчастные «кролики» были нисколько не виноваты в том, что они не выступали в поход. Они сами были этим возмущены. В один прекрасный день они даже отказались стрелять.

— Довольно смотров! — в приливе патриотических чувств кричали они. — Мы маршевая команда, и мы должны быть на марше!

— Вы непременно будете на марше, клянусь моим добрым именем! — обещал им бравый генерал Бравида и, задыхаясь от бешенства, пошел объясняться в мэрию.

В мэрии ему сказали, что приказа к ним не поступало и что это дело префектуры.

— Что ж, я и до префектуры доберусь! — объявил Бравида.

И вот уже скорый поезд мчит его в Марсель на свидание с префектом, а это было совсем не такое простое дело, потому что в Марселе всегда бывало пять-шесть префектов одновременно, и никто вам не мог бы сказать, какой из них лучше. По счастливой случайности Бравида отыскал префекта мгновенно. И на заседании совета префектуры бравый генерал с апломбом каптенармуса в отставке взял слово от имени своих молодцов.

Однако в самом начале речи префект перебил его:

— Извините, генерал… Как же это так? Вас солдаты просят вести их в

поход, а ко мне они обращаются с просьбой оставить их в Тарасконе… Вот, прочтите!

Тут префект, улыбаясь во весь рот, протянул полководцу адресованное в префектуру слезное прошение от двух «садковых кроликов», как раз наиболее рьяных сторонников похода, — прошение о том, чтобы их по болезни перевели в разряд «кроликов капустных» и к каковому они прилагали справки от врача, священника и нотариуса.

У меня больше трехсот таких прошений, — продолжая улыбаться, добавил префект. — Теперь вы понимаете, генерал, почему мы не торопимся посылать вас на войну. К несчастью, мы и так уж послали на фронт слишком много таких, которым хотелось остаться в тылу. Больше не надо… А за всем тем да хранит господь бог республику! Сердечный привет вашим «кроликам»!

ПРОЩАЛЬНАЯ ПИРУШКА

Мне нет надобности описывать смущение генерала, вернувшегося после разговора с префектом в Тараскон. Но история на этом не кончилась. Ну, конечно, тарасконцы в его отсутствие не утерпели: они задумали устроить по подписке прощальную пирушку в честь отбывающих «кроликов»! Тщетно бравый генерал Бравида отговаривал их, уверял, что ни о каком походе и речи нет, — деньги по подписке были собраны, ужин заказан; оставалось только съесть его, что и было исполнено… Трогательная церемония прощальной пирушки состоялась в один из воскресных вечеров в залах мэрии, и до самого рассвета казенные стекла дрожали от тостов, криков «Ура!», речей и патриотических гимнов. Все, разумеется, понимали, что это за прощальная пирушка. Оплатившие ее «капустные» гвардейцы были твердо убеждены, что их товарищи не выступят, ужинавшие на их счет «садковые» были в этом уверены не менее твердо, а их славный вождь, дрожащим от волнения голосом клявшийся храбрецам, что он поведет их за собой, знал лучше, чем кто — либо, что никто никуда не выступит. Но какое это имело значение! Южане — народ особенный: когда прощальная пирушка подходила к концу, все плакали, обнимались, и, что самое удивительное, все были в этот момент искренни, даже генерал!..

Мне не раз приходилось наблюдать в Тарасконе, и не только в Тарасконе, а на всем юге Франции такого рода мираж.

Часы из Буживаля
© Перевод Н. Касаткиной

ИЗ БУЖИВАЛЯ В МЮНХЕН

Это были часы эпохи Второй империи, сделанные из алжирского оникса, украшенные виньетками в духе Кампана,[36] часы с позолоченным ключиком на розовой ленточке, какими торгуют на Итальянском бульваре. Самое что ни на есть изящное, новомодное парижское изделие. Типичные водевильные часики с серебряным звоном, но без малейшего здравого смысла, взбалмошные, с уймой причуд, наобум показывающие время, забывающие отбивать половины, годные только для того, чтобы мсье знал, когда ему отправляться на биржу, а мадам — на любовное свидание.

Война застигла их на летнем отдыхе в Буживале; впрочем, они, казалось, и были созданы для загородных вилл, построенных на фуфу, этих нарядных картонных мухоловок, с мебелью на один сезон, с кружевами и тюлем на светлых шелковых чехлах.

Когда пришли баварцы, часики были вывезены одними из первых, и, право же, надо признать, что пришельцы из-за Рейна — ловкие упаковщики, иначе как бы эти кукольные часики, величиной с голубиное яйцо, проделали путь от Буживаля до Мюнхена среди крупповских пушек и груженных картечью фур, без единого изъяна прибыли на Одеон-плац в лавку редкостей Августа Кана и назавтра уже красовались в витрине свеженькие, игривые, в целости сохранившие обе свои тоненькие черные стрелки, загнутые, как ресницы, и — позолоченный ключик на новой ленточке.

ЗНАМЕНИТЫЙ ПРОФЕССОР ДОКТОР ОТТО ФОН ШВАНТАЛЕР

В Мюнхене, где никто еще не видел таких часиков из Буживаля, они произвели фурор; каждый глядел на них с таким же любопытством, как на японские раковины в Зибольдовском музее. Перед лавкой Августа Кана с утра до вечера пыхтели три ряда большущих трубок — честные мюнхенские обыватели таращили глаза и восклицали «Mem *Gott*»,

недоумевая, для чего может служить эта удивительная машинка. Иллюстрированные журналы печатали их изображение, во всех витринах появились их фотографии, а знаменитый профессор, доктор Отто фон Шванталер именно в их честь сочинил свой замечательный «Парадокс по поводу часов», философски — юмористический опус на шестистах страницах, где исследуется влияние часов на жизнь народов и логически доказывается, что нация, настолько утратившая разум, чтобы сообразовать свое времяпрепровождение с таким нелепым механизмом, как эти буживальские часики, сама готовит себе гибель, подобно кораблю, который решился бы выйти в море с испорченной бусолью (фраза получилась длинноватая, но я перевел ее дословно).

Немцы все делают основательно, и знаменитый профессор, прежде чем приступить к писанию своего «Парадокса», счел нужным иметь перед глазами предмет оного сочинения, дабы изучить его, обследовав досконально, подобно энтомологу. Поэтому он приобрел часики — таким образом они перекочевали из витрины Августа Кана к знаменитому профессору Отто фон Шванталеру, хранителю Мюнхенской пинакотеки,[37] члену Академии наук и изящных искусств, в его гостиную на Людвиг — штрассе, 24.

ГОСТИНАЯ ШВАНТАЛЕРОВ

Когда вы входили в гостиную Шванталеров, чопорную и величественную, как конференц-зал, вам прежде всего бросались в глаза часы в античном вкусе из строгого мрамора, с бронзовой Полигимнией и сложнейшим механизмом. Главный циферблат был окружен мелкими циферблатнкамн, которые показывали все на свете — часы, минуты, времена года, равноденствия и даже фазы луны в голубом облаке посреди цоколя. Ход этой грандиозной машины своим шумом наполнял весь дом. Уже снизу было слышно неторопливое, четкое тиканье мощного маятника, как будто размерявшего и дробившего жизнь на равные дольки. Это гулкое тиканье сотрясало секундную стрелку, которая носилась по своему циферблату с лихорадочным усердием паука, знающего цену времени.

Часы отбивали время с мучительной медлительностью, точно школьные часы, и когда раздавался их бой, что — нибудь происходило в семействе Шванталеров. То герр Шванталер с кипой бумаг отправлялся в Пинакотеку, то высокородная фрау Шванталер возвращалась с проповеди, сопутствуемая тремя дочками — тремя долговязыми девицами в

воланчиках, похожими на увитые хмелем жерди. А то начинался урок танцев, гимнастики или игры на цитре: открывали крышку клавесина, раскладывали пяльцы, выдвигали на середину гостиниц нотные пюпитры, и все это совершалось так обстоятельно, размеренно и последовательно, что, глядя, как с первым ударом все Шванталеры начинают тормошиться, входят и выходят в распахнутые двери, невольно вспоминалось шествие апостолов вокруг часов на Страсбургской колокольне,[38] и всякий раз думалось, не скроется ли с последним ударом семейство Шванталеров в своих часах.

СТРАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧАСИКОВ ИЗ БУЖИВАЛЯ НА ЧЕСТНОЕ МЮНХЕНСКОЕ СЕМЕЙСТВО

Часики из Буживаля были водружены рядом с этим внушительным монументом, и нетрудно себе представить, какое впечатление производила тут их задорная фигурка. Но вот однажды вечером дамы семейства Шванталеров занимались вышиванием в парадной гостиной, а знаменитый профессор читал кое-кому из коллег по Академии наук первые страницы своего «Парадокса», останавливаясь время от времени, чтобы наглядности ради продемонстрировать буживальские часики… Как вдруг Ева Шванталер, должно быть, по наущению беса пагубного любопытства, попросила, краснея:

— Папочка! Устройте, чтобы они зазвонили.

Профессор отвязал ключик, сделал два поворота, и тотчас раздался такой нежный и резвый хрустальный звон, что строгое сборище сразу повеселело, у всех в глазах вспыхнули озорные огоньки.

— Ах, какая прелесть! Какая прелесть! — повторяли барышни Шванталер, игриво потряхивая косами, чего за ними раньше не водилось.

И тут господин фон Шванталер торжественно возгласил:

— Ну вот вам пример французского сумасбродства! Они бьют восемь, а показывают три.

Это всех рассмешило, и, несмотря на поздний час, господа ученые пустились в пространные философские рассуждения и умозаключения по поводу легкомыслия французского народа. Гости и не думали расходиться. Никто даже не услышал, как на часах с Полигимнией пробил роковой десятый час, который обычно распугивал собравшихся. Большие часы совсем растерялись. Сроду не видели они такого веселья в доме Шванталеров, не видели и гостей в столь позднее время. Дальше —

больше. Когда барышни Шванталер пришли к себе в комнату, у них от смеха и долгого бдения засосало под ложечкой; они уже не прочь были поужинать, и даже мечтательница Минна пролепетала, потягиваясь:

— Хорошо бы поесть омара!

ВЕСЕЛИТЕСЬ. ДЕТКИ, ВЕСЕЛИТЕСЬ!

После того, как буживальские часики были заведены, они принялись снова резвиться и куролесить. Сперва их шалости вызывали только смех, но мало-помалу, приучившись слушать их игривый и беспорядочный звон, чинный дом Шванталеров махнул рукой на время и стал проводить его в приятной беспечности. Каждый думал только о развлечениях. Оттого, что часы перепутались, жизнь, казалась такой быстротечной! Все перевернулось вверх дном. К черту проповеди и уроки! Куда заманчивее шум и суета! Мендельсон и Шуберт показались уже пресными. Сменив их на «Герцогиню Герольштейнскую»[39] и «Фауста наизнанку», барышни бренчали и скакали; у знаменитого профессора голова тоже ходила ходуном, и он не уставал повторять: «Веселитесь, детки, веселитесь!..» На больших часах был поставлен крест. Барышни остановили маятник — он будто бы мешал им спать, и весь дом подчинился причудам безалаберных стрелочек.

Как раз в это время вышел пресловутый «Парадокс по поводу часов». Ради такого события Шванталеры задали бал, совсем непохожий на их прежние чинные и тусклые академические вечера, — нет, блистательный костюмированный бал, где фрау фон Шванталер и ее дочки фигурировали в костюмах буживальских лодочниц — руки голые, юбки до колен, плоские шляпки с яркими лентами. Весь город нн о чем другом не говорил, но это было только началом. Целую зиму Мюнхен, негодуя, наблюдал, как в гостиной почтенного академика любительские спектакли сменяются живыми картинами, ужинами и картами. «Веселитесь, детки, веселитесь! I!»- твердил окончательно сбитый с толку злополучный старик, и вся орава в самом деле веселилась напропалую. Фрау фон Шванталер после шумного успеха в наряде лодочницы проводила все время на Изере, непрерывно меняя рискованные туалеты. Девицы, оставленные дома без присмотра, брали уроки французского языка у пленных гусарских офицеров, интернированных в городе. А часики, с полным основанием чувствуя себя в родной буживальской атмосфере, трезвонили наобум: били восемь, когда стрелки показывали три… Однажды утром вихрь сумасбродного веселья

подхватил и унес семейство Шванталеров в Америку, и самые лучшие полотна Тициана из Пинакотеки утекли за океан вместе со своим достославным хранителем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После бегства Шванталеров в Мюнхене вспыхнуло настоящее поветрие скандальных происшествий. Настоятельница женской обители похитила баритона, ректор института женился на балерине, советник юстиции был уличен в шулерстве, монастырский пансион благородных девиц прикрыли за ночные оргии…

Какие же злые чары таятся порой в невинных предметах! Буживальские часики словно обладали даром волшебства и задались целью околдовать всю Баварию. Куда бы они ни попали, где бы ни прозвучал их легкомысленный звон, всюду он смущал, сбивал с толку умы. Переселяясь с места на место, часики под конец добрались до королевской резиденции. Угадайте, какая партитура постоянно раскрыта с тех пор на рояле ярого вагнерианца, короля Людвига?..[40]

— «Мейстерзингеры»?

— Нет!.. «Белобрюхий тюлень»!

Пусть знают, как пользоваться нашими часами.

Пруссак Белизера
© Перевод С. Ошерова

Вот рассказ, слышанный мною на этой неделе в одном из монмартрских кабачков. Чтобы как следует передать тебе его, мне нужен был бы тот же лексикон жителя парижского предместья, что и у мэтра Белизера, тот же широкий фартук столяра да еще два-три стаканчика доброго монмартрского белого вина, от которого даже марселец может заговорить, как истый парижанин. Тогда я был бы вполне уверен, что и у тебя мурашки побегут по спине, так же как у меня, когда я слушал Белизера, рассказывавшего за столом в кругу приятелей эту мрачную и правдивую историю.

«…Это было назавтра после замирения (Белизер хотел сказать — перемирия). Жена отправила нас вдвоем — меня и малыша — прогуляться в сторону Вильневла-Гаренн: ведь там у нас домишко на берегу, такой дощатый балаган, а мы с самой осады о нем ничего не знали. Мне-то, конечно, не очень хотелось тащить с собой парнишку, я знал, что наверняка встречу пруссаков; раньше я с ними нос к носу не сталкивался, вот и боялся, что может выйти история. Но матери хоть кол на голове теши: иди да иди! Ребенок хоть воздухом подышит! Что верно, то верно, это ему, бедняжке, очень было нужно: пять месяцев плесневел в осаде!..

Ну вот, пошли мы с ним полями. Сами понимаете, до чего мальчонка был доволен, когда увидал, что есть еще деревья и птички, и зашагал по пашне! Ну, а у меня на сердце было вовсе не так легко: слишком много остроконечных касок попадалось на дорогах. От канала до самого острова только они и попадались навстречу. И до чего наглые!.. Приходилось держать себя на вожжах, чтобы кого-нибудь из них не трахнуть… Но особенно меня злость взяла, когда я вошел в Вильнев и увидал, что все наши бедные сады разорены, дома отперты, разграблены, а эти разбойники расположились у нас, перекликаются из окошка в окошко и сушат теплые подштанники на створках наших ставен да на садовых решетках. К счастью, рядом со мной шагал малыш, — каждый раз, как у меня рука чесалась, я глядел на него и думал: «Не горячись, Белизер!.. Осторожней, а то как бы с малым не вышло чего дурного!» Только из-за него я и не наделал глупостей. Тут я понял, почему это мать настаивала, чтобы я взял его с собой.

Наш домишко стоит на самом краю деревни, у берега, последний на правой руке. Очистили его сверху донизу, как и все остальные. Стекла выбиты, внутри ни одной табуретки, только несколько охапок соломы да последняя ножка большого кресла трещит в очаге. Везде пахнет пруссаками, хоть их самих и не видать. И покажись мне, что кто-то шевелится в подполье. У меня там стоит маленький верстак, я на нем по воскресеньям делаю для собственного удовольствия всякие мелкие поделки. Говорю малышу, чтоб обождал, а сам спускаюсь поглядеть.

Только отворил я дверь, слышу: кто-то заворчал, и вот с опилок подымается здоровый детина — вильгельмовский солдати идет прямо на меня, глаза выпучил, ругается на чем свет стоит, а я ничего у него понять не могу. Видно, встал с левой ноги, скотина такая. Я еще не успел слова сказать, а он за саблю…

Ну, тут уж кровь бросилась мне в голову. Вся желчь разлилась, что во мне за этот час накопилась… Схватил я упор с верстака и стукнул. Вы, ребята, знаете, у Белизера и всегда-то кулак нелегкий, а в тот день я ударил, как гром господень… С первого же удара мой пруссак стал как шелковый и растянулся во весь рост. Я думал, что я его оглушил. Куда там!.. Пришил я его, ребята, самой крепкой ниткой! Так пришил, что не отдерешь, во как!..

Я за свою жизнь никого не убил, даже жаворонка, и, понимаете, ребята, все-таки как-то чудно мне было глядеть на это тело, которое валялось передо мной… Красивый малый, право! Белобрысый, пушок на подбородке только пробивается и курчавится, как ясеневая стружка. Гляжу на него, а у самого поджилки трясутся. Тем временем малыш наверху соскучился; слышу, кричит что есть мочи: «Папа, папа!»

По улице проходили пруссаки. В окошко подполья видны были их сабли и ножищи. Мне сразу пришло в голову: «Зайдут сюда — все кончено… Убьют малыша!» И тут я перестал трястись. Быстро затолкал пруссака под верстак, навалил сверху досок, стружек, опилок и поднялся к малышу.

— Поди сюда!..

— Что такое, папа? Какой ты бледный!..

— Пошли, пошли!

Говорю вам положа руку на сердце: эти разбойники могли сколько угодно толкать меня, косо смотреть — я не обращал внимания. Мне все казалось, что за нами бегут, кричат.;. Вдруг мне почудилось, будто нас на всем скаку догоняет лошадь. Я думал, упаду, так у меня дух перехватило. Но когда мы прошли мосты, я маленько опомнился. В Сен-Дени было полно народу. Здесь уж было неопасно: в такой толкучке нас не выловить.

Тут только я подумал о нашем домишке. Пруссаков станет на то, чтобы поджечь его в отместку, когда они найдут своего товарища. А мой сосед Жако — он в охране рыболовства служил — оставался в деревне один, и я подумал, что ему несдобровать, ежели рядом с его домом найдут убитого солдата. Словом, не очень-то это было красиво — спасать свою шкуру.

Надо было как-нибудь сплавить пруссака… Меня это все больше мучило. Что поделаешь? Я не мог чувствовать себя спокойно, пока пруссак лежал у меня в подвале. У валов я не выдержал.

— Иди дальше один, — говорю я парнишке. — А мне еще нужно в Сен-Дени.

Целую его и иду обратно. Конечно, сердце у меня немножко ныло, а все-таки мне стало легче оттого, что малыша со мной нет.

Когда я вернулся в Внльнев, уже темнело. Сами понимаете, я глядел в оба и пробирался тайком. В деревне все как будто спокойно. Домишко на месте — вон он, еле виден в тумане. На берегу реки черный частокол: у пруссаков идет поверка. Это было как раs кстати: значит, в домике пусто. Пробираюсь вдоль заборов, гляжу: папаша Жако у себя на дворе развешивает сети. Ясное дело, они еще ничего не знают. Вхожу к себе, спускаюсь ощупью… Пруссак все так же лежит под опилками, а две громадные крысы возятся с его каской. Меня оторопь взяла, когда я услыхал, как шевелится его подбородник. На минуту мне показалось, что мертвый воскрес… Да нет, куда там! Голова тяжелая, холодная. Я забился в уголок и стал ждать: я ведь задумал бросить его в Сену, когда все остальные улягутся…

Не знаю, может, это оттого, что рядом был покойник, но только до чего тоскливым показался мне в тот вечер отбой у пруссаков! Рожок трижды громко протрубил: тра-та-та! Жабья музыка! Нет, под такой мотив наши солдатики ни за что не стали бы укладываться. Минут пять я слушал, как волочатся по земле их сабли и хлопают двери. Потом солдаты зашли ко мне во двор и стали звать:

— Гофман, Гофман!

Бедняга Гофман лежал под опилками и помалкивал… Зато мне было куда как весело! Каждую минуту я ждал, что они спустятся ко мне в подполье. Я подобрал саблю Гофмана, сидел неподвижно и говорил себе: «Если ты выпутаешься, старина, ты должен будешь поставить знатную свечку Иоанну Крестителю в Бельвиле!..»

В конце концов мои жильцы так и не докричались Гофмана и решили убраться восвояси. Я слышал, как их сапожищи топают по лестнице, а немного погодя весь дом храпел, словно деревенские часы перед тем, как

бить. Я только этого и ждал.

На берегу не было ни души, во всех домах погасили свет. Повезло! Спускаюсь снова в подвал. Вытаскиваю моего Гофмана из-под верстака, ставлю на ноги, взваливаю себе на спину, как крючник тюк… Ух, до чего тяжелый, разбойник!.. А тут еще страх, а во рту с утра маковой росинки не было… Я думал, у меня не хватит сил дойти. Потом вдруг на полдороге чувствую: кто-то идет за мной по берегу. Оборачиваюсь — никого… Это луна всходила… «Ну, теперь, — говорю себе, — осторожней! Часовые будут стрелять».

В довершение всех удовольствий вода в Сене убыла. Брось я его здесь же, у берега, он бы так и остался лежать, как в канаве… Спускаюсь с берега, иду вперед — нет воды… Чувствую, больше невмочь: все суставы свело… Когда уж я довольно много прошел, отпустил я моего приятеля… Поди ж ты: увяз в иле! Никак не сдвинешь с места. Толкаю, толкаю… Ну, пошел! К счастью, потянул ветер с востока. На Сене поднялась волна, чувствую — мой идол отчаливает полегоньку. Счастливого пути! Выпиваю ведро воды и выбираюсь на берег.

Когда я опять переходил через Вильневский мост, посреди Сены показалось что-то черное. Издали похоже было на ялик. Это мой пруссак плыл по течению со стороны Аржантейля…»

«Осада Берлина»
© Перевод Н. Касаткиной

Когда мы с доктором В. шли по Елисейскнм полям, выпытывая у стен, пробитых снарядами, и у панелей, развороченных картечью, историю осажденного Парижа, доктор остановился невдалеке от площади Звезды и указал мне на один из тех больших угловых домов, что величаво высятся вокруг Триумфальной арки.

— Видите четыре запертых окна над верхним балконом? — спросил он. — В первых числах августа минувшего года, грозного августа, насыщенного бурями и бедствиями, меня пригласили туда к полковнику Жуву, с которым случился апоплексический удар. Полковник Жув, кирасир Первой империи, закоренелый ревнитель славы и патриотических чувств, едва началась война, поспешил поселиться на Елисейских полях в квартире с балконом… Угадайте, для чего? Чтобы быть свидетелем победоносного возвращения наших войск… Бедный старик! Он получил известие о Вейсенбурге,[41] когда кончал обед. Прочтя имя Наполеона под этим отчетом о поражении, он упал замертво.

Когда я вошел, отставной кирасир лежал, распростертый на ковре, с окровавленным и безжизненным лицом, как будто его оглушили ударом по темени. Стоя он вероятно, был высок ростом; лежа — он казался гигантом. Красивые черты лица, великолепные зубы, грива вьющихся седых волос, восемьдесят лет от роду, а на вид — шестьдесят. Подле него на коленях — внучка, вся в слезах. Она была похожа на него. Рядом они напоминали две прекрасные греческие медали, чеканенные по одному образцу, только одна была древняя, замшелая, стертая, а другая — яркая и четкая, во всем блеске свежей чеканки.

Горе девушки тронуло меня. Она была дочерью и внучкой воинов, отец ее состоял при штабе Мак — Магона,[42] и вид старого великана, распростертого перед ней, вызывал в ее воображении другое, не менее страшное зрелище. Я постарался утешить ее, но, в сущности, надежды у меня было мало. Перед нами был случай самого настоящего одностороннего паралича, а в восемьдесят лет от него трудно оправиться. В течение трех дней состояние неподвижности и оцепенения действительно не покидало больного. Тем временем в Париж прибыло известие о Рейхсгофене.[43] Вы помните, как, по странному недоразумению, все мы до

самого вечера были уверены, что одержана крупная победа, двадцать тысяч пруссаков убито, кронпринц взят в плен… Непонятно, каким чудом, силой какого магнетизма отзвук народной радости проник в сознание несчастного глухонемого паралитика. Как бы то ни было, подойдя вечером к его кровати, я увидел, что передо мной другой человек. Взгляд был почти ясен, речь менее затруднена. У него достало сил улыбнуться мне и пролепетать два раза подряд:

— По… бе… да!

— Да, полковник, крупная победа!..

И в то время, как я рассказывал ему подробности блестящего успеха Мак-Магона, черты его заметно расправлялись, лицо озарялось…

Когда я вышел, его внучка, бледная, вся в слезах, встретила меня у дверей.

— Да ведь он спасен! — сказал я, взяв ее за руки.

У бедняжки едва хватило сил ответить мне. Только что стали известны подлинные события Рейхсгофена, бегство Мак-Магона, разгром всей армии. Мы в смятении глядели друг на друга. Она убивалась, думая об отце. А я содрогался, думая о старике. Он, несомненно, не вынесет нового потрясения… Но как же быть?.. Сохранить ему ту радость, те иллюзии, которые оживили его?.. Но тогда придется лгать…

— Что же, я буду лгать! — сказала юная героиня, торопливо отерла слезы и с сияющим видом вошла в спальню деда.

Тяжелую задачу взяла она на себя. Первые дни кое-как удавалось выходить из положения. Старик еще был слаб головой и поддавался обману, как младенец. Но по мере выздоровления мысли его прояснились. Приходилось держать его в курсе передвижения войск, составлять для него сводки. Жалко было смотреть, как прелестная девушка, днем и ночью склоняясь над картой Германии, переставляла флажки и силилась разработать целую победоносную кампанию: Базен[44] — на Берлин, Фроссар[45]-в Баварию, Мак-Магон — к Балтийскому морю. При этом она постоянно обращалась ко мне, и я советовал как умел. Но больше всего помогал нам в этом воображаемом наступлении сам дед. Ведь он столько раз при Первой империи завоевывал Германию! Он заранее предвидел все операции:

— Вот они куда теперь пойдут… Вот что сделают…

И его догадки всегда подтверждались, чем он очень гордился.

К несчастью, сколько бы мы ни брали городов и ни одерживали побед, старику все казалось мало. Он был ненасытен!.. Каждый день, явившись к

ним,' я узнавал о новом успехе.

— Доктор! Мы взяли Майнц, — выходя ко мне навстречу, говорила внучка со страдальческой улыбкой, а из-за двери раздавался веселый голос:

— Здорово! Здорово!.. Через неделю будем в Берлине.

В это время пруссакам оставалась неделя перехода до Парижа… Сперва мы думали, что лучше будет перевезти старика в провинцию, но, очутившись за пределами города, он все бы понял, увидев, каково положение во Франции, а на мой взгляд, он был так слаб, так изнурен недавней болезнью, что рано было открывать ему истину. Решено было оставаться на месте.

Помню, я шел к ним в первый день осады, глубоко потрясенный, с той болью в сердце, какую испытывали все мы от сознания, что ворота Парижа закрыты, что под стенами идет бой, а пригороды стали границами… Старик сидел в постели, радостный и торжествующий.

— Ну вот, — сказал он, — осада началась!

Я уставился на него в изумлении.

— Как, полковник, вам это известно?..

Внучка повернулась ко мне:

— Ну да, доктор!.. Последние известия… Началась осада Берлина.

Она сказала это внушительным, спокойным тоном, не отрываясь от рукоделия. Как мог он что-нибудь заподозрить? Пушечных залпов с фортов он не слышал. Несчастного Парижа, мрачного и смятенного, он не видел. С кровати ему был виден край Триумфальной арки, а вокруг него — полная комната старого хлама времен Первой империи, способного только поддержать его иллюзии. Портреты маршалов, эстампы с изображением битв, римский король[46] в младенческом возрасте и высокие, чопорные консоли с медными украшениями в виде трофеев, императорские реликвии, медали, бронза, скала святой Елены под стеклянным колпаком, миниатюры, воспроизводящие одну и ту же даму в локонах, в бальном уборе, в желтом платье с пышными рукавами, и светлыми глазами… Все это, вместе взятое: консоли, римский король, маршалы, желтые дамы с короткой талией и высоким поясом, эта угловатая чопорность, составлявшая прелесть 1806 года, — вся атмосфера завоеваний и побед еще больше, чем наши разговоры, заставляла славного полковника простодушно верить в осаду Берлина.

С этого дня наши военные операции значительно упростились. Взятие Берлина — это уже был только вопрос выдержки. Временами, когда старик начинал скучать, ему читали письмо от сына — вымышленное письмо, разумеется, потому что в Париж ничего уже не попадало, и еще потому, что

после Седана адъютант Мак-Магона был отправлен в одну из германских крепостей. Представляете себе отчаяние бедной девушки, когда она не получала вестей от отца, знала, что он в плену, лишен всего, быть может, болен, а сама сочиняла от его имени веселые письма, правда, несколько лаконичные, но такие и полагается писать солдату, шагающему по завоеванной стране. Порой мужество изменяло ей; известия не приходили по нескольку недель. Старик тревожился, переставал спать. Тогда спешно прибывало письмо из Германии, и девушка весело читала его деду, с трудом сдерживая слезы. Полковник слушал благоговейно, улыбался с глубокомысленным видом, одобрял, критиковал, объяснял нам туманные места. Но особенно хорош он был в ответах сыну. «Ни на миг не забывай, что ты француз… — писал он. — Будь великодушен к несчастным. Не усугубляй тягот оккупации…» Далее следовали нескончаемые наставления, умилительный вздор об уважении к собственности, об учтивости по отношению к дамам — целый кодекс воинской чести для победителей. К этому он примешивал и общие рассуждения о политике, об условиях мира, которые должны быть продиктованы побежденным. Следует признать, что тут он был не слишком требователен:

— Военные издержки — и больше ничего.;. Зачем отнимать у них какие-то провинции?.. Разве можно из Германии сделать Францию?..

Диктовал он все это твердым голосом, и в словах его чувствовалась такая искренность, такой убежденный патриотизм, что невозможно было без волнения слушать его.

А между тем своим чередом шла осада — только, увы, не Берлина!.. Это была как раз пора сильных морозов, бомбардировок, эпидемий, голода. Но благодаря нашим заботам, нашим стараниям, неутомимой любви, окружавшей старика, безмятежность его ни разу не была нарушена. До последней минуты мне удавалось доставать для него белый хлеб и мясо. Хватало их, понятно, только ему одному. Трудно представить себе что-нибудь трогательней, чем эти завтраки в их невинном эгоизме, когда дед, бодрый и веселый, с подвязанной салфеткой, лежал в постели, а внучка, бледная от недоедания, направляла его руку, давала ему пить, помогала ему есть все эти недоступные лакомства. Потом, оживившись от пищи, в тепле уютной комнаты, за окнами которой бушевала вьюга и кружил снег, отставной кирасир припоминал свои северные походы и в сотый раз рассказывал нам о роковом отступлении из России, когда нечего было есть, кроме мерзлых сухарей и конины.

— Понимаешь, малютка? Мы ели конину!

Как ей было не понять! Уже два месяца она ничего другого не ела…

Но день ото дня, по мере того, как продвигалось выздоровление, наша задача становилась все труднее. Столь удобная для нас скованность всех чувств, всего тела больного понемногу проходила. От страшных залпов у заставы Майо он уже раза два-три подскакивал, насторожив уши, как охотничий пес. Пришлось выдумать новую победу Базена под Берлином и салюты с Дома инвалидов в честь этой победы. В другой раз — это было, помнится, в четверг, в день битвы у Бюзенваля, — его кровать придвинули к окну, и он явственно увидел национальных гвардейцев, которые собирались на проспекте Великой армии.

— Что это за войска? — спросил старик.

И мы услышали, как он ворчит сквозь зубы:

— Дрянная выправка! Дрянная выправка!

И больше ничего. Но мы поняли, что надо быть настороже. К несчастью, мы не сумели оберечь его от потрясения.

Однажды вечером девушка вышла ко мне навстречу в полной растерянности.

— Завтра они вступают,[47]- сказала она.

Не была ли при этом открыта дверь в комнату деда? Впоследствии я припомнил, что в тот вечер у него был загадочный вид. Возможно, он подслушал наш разговор. Только мы-то говорили о пруссаках, а старик думал о французах, о том победоносном возвращении, которого он столько времени дожидался. Мак-Магон движется от Триумфальной арки среди цветов и фанфар, сын его рядом с маршалом, а сам он, старик, стоя на балконе в парадной форме, как при Люцене,[48] приветствует знамена, продырявленные пулями, и орлов, почерневших от пороха.

Бедный дедушка Жув! Он вообразил, что от него хотят скрыть зрелище дефилирующих войск, боясь последствий чрезмерного волнения. Поэтому он никому словом не обмолвился, но назавтра, в тот самый час, когда прусские батальоны робко вступали на длинную магистраль, ведущую от заставы Майо к Тюильри, наверху тихо растворилась стеклянная дверь, и полковник появился на балконе, при шлеме и палаше — этой доблестной мишуре былого кирасира генерала Мило.[49] До сих пор не могу понять, какое усилие воли, какая вспышка жизненной энергии помогла ему подняться на ноги и надеть амуницию. Как бы то ни было, он стоял у перил и смотрел с удивлением: улицы пустынны и молчаливы, все ставни заперты, Париж мрачен, точно огромный лазарет, повсюду флаги, только какие-то странные, белые с красными крестами, и ни души, чтобы встретить наши войска.

Он подумал было, что ошибся…

Но нет! Вдалеке, за Триумфальной аркой, слышался смутный гул, в свете брезжущего дня двигались темные ряды… Вот заблистали острия красок, забили иенские барабаны, и под аркой Звезды, в такт с тяжелой поступью взводов и бряцанием сабель, загремел победный марш Шуберта!..

Тут среди угрюмого молчания площади раздался крик, страшный крик:

— К оружию!.. К оружию! Пруссаки!

Четверо передовых улан видели, как стоявший на верхнем балконе высокий старик зашатался, взмахнул руками и упал навзничь. На сей раз полковнику Жуву пришел конец.

---

notes

Примечания

1

28 января 1871 года в Версале представители буржуазного Правительства национальной обороны, получившего позорное прозвище «Правительства национальной измены», подписали с германским командованием перемирие на 21 день, приняв прусские условия капитуляции. Осада Парижа, начавшаяся 19 сентября 1870 года, закончилась поражением, несмотря ка мужество парижан и оборонявших город частей регулярной армии и Национальной гвардии. Одна из основных причин катастрофы — пораженческая политика правительства и командования, боявшихся революционно настроенных масс.

2

В соответствии с планом прорыва блокады, предложенны м главнокомандующим Парижской армии генералом Трошю, части ее должны были соединиться с Луарекой армией, форсировав Марну. Осуществить этот план до конца командование фактически не собиралось.

3

возвышенности, которые французское командование сдало пруссакам в самом начале осады и с которых те с 27 декабря начали артиллерийский обстрел защищавших Париж фортов и самого города.

4

Дориан, Пьер-Фредерик (1814–1873) — французский промышленник и политический деятель; будучи министром общественных работ Правительства национальной обороны, много сделал для организации военной промышленности и создания новых видов оружия.

5

Гио, Ив (1843–1928) — французский журналист и политический деятель; в молодости занимался воздухоплаванием, стремился найти практическое применение воздушным шарам. Фребо, Шарль-Виктор (1813–1888) — французский генерал, командовал во время осады артиллерией Парижа.

6

Паликао (Кузен-Монтобан, Шарль-Гийом, 1796–1878) — французский генерал, в начале войны — председатель кабинета министров в правительстве Наполеона III.

на этой площади находился кабинет министров.

8

Гамбетта, Леон-Мишель (1838–1882) — политический деятель, буржуазный республиканец; министр внутренних дел Правительства национальной обороны, один из входивших в него немногих сторонников решительной борьбы с пруссаками.

9

Шнейдер, Эжен (1805–1875) — крупный промышленник и политический деятель, в 1867–1870 годах — председатель Законодательного корпуса.

10

Мон-Валерьен — форт на левом берегу Сены, один из главных опорных пунктов обороны Парижа.

11

Во время франко-прусской войны Национальная гвардия делилась на две категории: местную, которую не раарешалось выводить за пределы департамента, и подвижную, которую можно было перебрасывать в другие департаменты.

12

искусственный летающий остров, описываемый Свифтом в третьей части «Путешествий Гулливера».

13

то есть в военной форме.

14

усовершенствованная система ружья, введенная во французской армии в 1866 году. Однако даже во время войны далеко не вся армия была вооружена шаспо.

15

Трошю. Луи-Жюль (1815–1896) — французский генерал. В начале войны был назначен губернатором Парижа, 4 сентября возглавил «Правительство национальной измены», оставаясь главнокомандующим Парижской армии. Его пораженческая тактика, сводившаяся к предпринимаемым для успокоения общественного мнения вылазкам, не доводимым до конца, привела к капитуляции Парижа.

16

Накануне этой даты на Марне, около Пти-Бри, произошло сражение между пруссаками и французской армией под командованием Дюкро, пытавшейся форсировать Марну. Французы ценой огромных потерь дважды брали Пти — Бри, но наступление было остановлено, и французы вновь отошли за Марну. В этом «сражении при Шампиньи» участвовал и батальон, где служил Доде.

17

один из главных опорных пунктов обороны Парижа. Расположен был на левом берегу Сены, подвергался особенно сильному обстрелу прусской артиллерии. Оборонявшие форт моряки проявили исключительное мужество и организованность, каждую ночь исправляя разрушения, причиненные вражеским огнем.

18

Заметка написана на следующий день после кровопролитного сражения, происходившего в описываемом районе. Стотысячная французская армия по вине командования не могла выбить с позиций двадцатитысячный прусский корпус. В ночь с 19 на 20 января французская пехота, не поддержанная резервами и артиллерией, в беспорядке отступила. Эта «битва при Бюзенвале» явилась последней попыткой французов прорвать кольцо блокады.

19

Шелиф — река и город в Алжире; Метиджа — равнина в северном Алжире.

20

Вильгельм I (1797–1888), с 1861 года — король Пруссии, с 1871 года — император объединенной Германии.

21

Во время Второй опиумной войны (1857–1860), навязанной Китаю англо-французскими агрессорами, французские войска 21 сентября 1860 года разбили маньчжурскую конницу в битве у моста Пали-Као, близ Пекина, за что генералу Кузен-Монтобану и был присвоен титул графа Палимо. 6 октября французы и англичане взяли императорский Летний дворец севернее Пекина, разграбили находившиеся в нем огромные художественные ценности и сожгли его. 13 октября пал Пекин.

22

Паликао (Кузен-Монтобан, Шарль-Гийом, 1796–1878) — французский генерал, в начале войны — председатель кабинета министров в правительстве Наполеона III.

23

По французскому обычаю, после крестин крестный отец преподносит по коробке конфет куме и матери своего крестника.

24

Боже мой! *(нем.)*

25

Руэ, Эжен (1814–1884) — политический деятель времен Второй империи, долгое время был министром хозяйства и торговли.

26

Де ла Валетт, Шарль-Жан (1806–1881) — французский дипломат и политический деятель, в 1865–1867 годах — министр внутренних дел.

27

Маркиза де Помпадур (1721–1764) с ранних лет мечтала стать фавориткой короля. Поселившись с мужем в замке Этьоль, близ Сенарского леса, где часто охотился король, она ловко подстроила встречу с ним на одной из аллей и вскоре стала фавориткой Людовика.

28

Иль де Франс — старинное название небольшой области по течению Сены и Марны, в которую входят Париж и его окрестности.

29

Бурже, взятый вольными стрелками 28 октября, был по виие командования через два дня отдан пруссакам. Героически сопротивлявшийся французский гарнизон погиб. Новая попытка взять Бурже 21 декабря не имела успеха.

30

Немецким генерал Вер дер, осаждая Страсбург, подверг город страшному артиллерийскому обстрелу: за сорок дней было выпущено на город 193 тысячи снарядов.

31

Город Шатодеи, упорно оборонявшийся вольными стрелками и Национальной гвардией, пруссакам удалось взять только после того, как они подожгли его.

32

Крепость Лаон сдалась противнику без боя. Возмущенный этим, один из смотрителей военных складов взорвал пороховой погреб, похоронив под развалинами множество французов и пруссаков.

33

1-2 сентября пруссаки наголову разбили под Седаном французскую армию. Около 17 тысяч французов было убито и ранено, 83 тысячи взято в плен, в том числе император.

34

Битва под Павией произошла в 1525 году между французами и испанцами во время войны за господство над Италией. Французский король Франциск I (1494–1547) был разбит и взят в плен По преданию, он произнес, сдаваясь* «Все пропало, кроме чести».

35

Рене Добрый (1409–1480), герцог Анжуйский и Лотарингский, король Неаполитанский, прославился как покровитель искусств и писатель.

36

Кампана — парижский антиквар.

37

картинная галерея в Мюнхене; здесь имеется в виду Старая пинакотека, одно из лучших в Европе собраний живописи Возрождения и барокко.

38

На часах Страсбургской колокольни каждый час появлялись механические фигуры апостолов — столько фигур, сколько ударов отбивали часы.

39

оперетта Жака Оффенбаха (1819–1880), поставлена в 1867 году; «Фауст наизнанку»- оперетта Эрве, автора «Мадемуазель Нитуш», представляет собой пародию на оперу Гуно, впервые поставлена в 1869 году.

40

Баварский король Людвиг II (1845–1886) был страстным поклонником и пропагандистом музыки Вягнера, для которого он построил специальный театр в Байрейте.

41

эльзасский городок, где пруссаки нанесли 4 августа первое поражение французским войскам.

42

Мак-Магон, Патрис-Морис (1808–1893) — французский маршал и реакционный политический деятель; в начале войны командовал I корпусом Рейнской армии, стоявшим в Страсбурге. Потерпел ряд серьезных поражений, явился главным виновником седанскон катастрофы.

43

Рейхсгофен — деревня, где войска Мак-Магона потерпели 6 августа решительное поражение, открывшее пруссакам путь в Эльзас.

44

Базен, Ашиль (1811–1888) — французский маршал, командовал в начале войны III корпусом Рейнской армии, стоявшим в Лотарингии, в Сент-Авольде. После ряда поражений предательски сдал крепость Мец, за что был приговорен к пожизненному заключению; бежал и умер на чужбине.

45

Фроссар, Шарль-Огюст (1807–1875) — французский генерал, в начале войны командовал II корпусом Рейнской армии, стоявшим в Форбахе, в Лотарингии.

46

Римский король — сын Наполеона I, Франсуа — Шарль-Жозеф Бонапарт (1811–1832), умер в Австрии от туберкулеза.

47

1 марта 1871 года германские части вошли в Париж, часть которого они в соответствии с условиями перемирия занимали два дня.

48

немецкий городок, под которым Наполеон I одержал в 1813 году последнюю крупную победу над войсками союзников.

49

Генерал Мило, Эдуард-Жан-Батист (1768–1833) — наполеоновский генерал, командующий кирасирским корпусом, проявившим в кампаниях 1806–1810 годов чудеса храбрости.